



Одри Лорд

ЗАМИ: КАК ПО-НОВОМУ ПИСАТЬ МОЕ ИМЯ

Биомифография

No Kidding Press

Одри Лорд

Зами: как по-новому писать мое имя. Биомифография

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66655670

Зами: как по-новому писать мое имя. Биомифография: No Kidding

Press; Москва; 2021

ISBN 978-5-6045961-9-7

Аннотация

Зами – так называют женщин с острова Карриаку, работающих плечо к плечу и живущих вместе как подруги и любовницы. Карриаку – остров в юго-восточной части Карибского моря, а также остров воображения Одри Лорд. Эта книга – «биомифография», ключевой для мемуарного жанра текст, повествующий о взрослении молодой черной квир-женщины в Нью-Йорке 1950-х годов. Вспоминая мать, сестер, подруг, соратниц и любовниц, Лорд открывает читателю альтернативную реальность женского становления, которое строится на преемственности семейных традиций и исторического прошлого, общности, силе, привязанности, укорененности в мире и этике заботы и ответственности.

Содержание

Благодарности	5
Пролог	12
1	13
2	23
3	34
Как я стала поэтессой	52
4	58
5	72
6	83
7	90
8	100
9	114
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Одри Лорд

**Зами: как по-новому писать
мое имя. Биомифография**

Audre Lorde

ZAMI: A NEW SPELLING OF MY NAME

A Biomythography

Copyright © 1982 by Audre Lorde

© Катя Казбек, перевод на русский язык, 2021

© Издание на русском языке, оформление. No Kidding
Press, 2021

Благодарности

Да буду я жить с осознанием долга перед всеми людьми, что делают жизнь возможной.

От самого сердца я благодарю каждую женщину, которая поделилась кусочками мечты/мифа/истории, оформившимися в эту книгу.

Вот кому я хочу выразить особую признательность: Барбаре Смит за смелость задать верный вопрос и веру в то, что на него найдется ответ; Черри Морага за то, что слушала своим третьим ухом и слышала; им обеим за редакторскую стойкость; Джин Миллар за то, что была рядом, когда я со второго раза задумала верную книгу; Мишель Клифф за номера *The Island-Ear*, зеленые бананы и тонкий расторопный карандаш; Дональду Хиллу, который посетил Карриаку и передал весточку; Бланш Кук, которая превратила историю из кошмара в основу для будущего; Клер Косс, которая связала меня с моим наследием по женской линии; Адриенне Рич, которая настаивала, что язык возможно подобрать, и верила, что так и будет; авторам песен, чьи мелодии сшивают мои годы; Бернис Гудман, которая первой изменила мир через отличие; Фрэнсис Клейтон, которая всё собирает воедино, – за то, что никогда не сдается; Мэрион Мэзон, которая дала имя вечности; Беверли Смит за то, что напоминала мне быть попроще; Линде Бельмар Лорд за первые мои принципы боя и

выживания; Элизабет Лорд-Роллинз и Джонатану Лорд-Роллинз, которые помогают мне оставаться честной и держать-ся настоящего; Ма-Марае, Ма-Лиз, тете Энни, сестре Лу и другим женщинам Бельмар, которые вычитывали мои сны, и другим, кого я пока что не могу позволить себе назвать.

Элен, которая придумывала лучшие приключения.

Бланш, с которой я прожила многие из них.

Рукам Афрекете.

В признании любви лежит ответ отчаянью.

Кому я обязана мощью, что стоит за моим голосом и силой, которой я стала, пенисто вскипающей, как внезапная кровь из-под коросты на рассеченной коже?

Отец оставил на мне свой духовный отпечаток, неслыш-ный, глубокий, беспощадный. Но свет его – отдаленная вспышка на небосводе. Мой путь украшают и очерчивают образы женщин, что пылают факелами и дамбой отделяют от хаоса. И именно эти образы женщин, добрых и жестоких, ведут меня домой.

Кому я обязана символами своего выживания?

Дням от праздника тыквы до полуночи года, когда мы с сестрами вертелись дома, играли в классики на розовом ли-

нолеуме, что покрывал пол в гостиной. По субботам мы дрались из-за того, кому выполнять редкие поручения на улице дрались из-за пустых коробок овсянки Quaker Oats, дрались из-за того, кому последней идти в ванную перед сном; из-за того, кто из нас первой заболела ветрянкой. Запах многолюдных гарлемских улиц летом: после стремительного ливня или проехавшей мимо поливальной машины зловоние от тротуара поднималось к солнцу. Я бежала за угол купить молока и хлеба в лавке у Короткошейки, и на обратном пути задерживалась, чтобы сорвать несколько травинок для матери. Задерживалась, чтобы отыскать монетки, что прятались под вентиляционными решетками метро, подмигивая мне как котята. Я то и дело наклонялась завязать шнурки и медлила, пытаюсь кое-что понять. И как добраться до сокровищ, и как разгадать секрет, который иные женщины таили разбухшей угрозой в складках цветастых блуз.

Кому я обязана тем, какой женщиной стала?

Делоис жила в нашем квартале на 142-й улице и никогда не укладывала волосы, так что все окрестные женщины цыкали зубом ей вслед. Ее сухие волосы посверкивали под солнцем, пока она шествовала по кварталу дальше, гордо неся перед собой огромный живот, а я за ней наблюдала — мне и дела не было, есть ли в ней что-то поэтичное. Хотя я наклонялась завязать шнурки и пыталась заглянуть под блузу проходящей мимо Делоис, я никогда с ней не заговаривала, подражая матери. Но я ее любила, потому что она дви-

галась, как будто чувствовала себя особенной, одной из тех, кого я однажды захочу узнать. Так, думала я, двигалась мать бога, и моя мать тоже, а когда-нибудь буду двигаться и я.

Жаркий полдень набрасывал солнечное кольцо на торчащий живот Делоис, точно нимб, точно свет софита, заставляя меня печалиться, что я такая плоская и чувствую солнце лишь плечами да макушкой. Чтобы оно сияло на моем животе, приходилось ложиться на землю.

Я любила Делоис, потому что она была крупной, Черной и особенной, и всё в ней будто смеялось. По тем же причинам я боялась Делоис. Однажды я видела, как на 142-й улице она, медленно и осторожно шагая, сошла с тротуара, когда уже зажегся красный. Высокий желтоволосый мужик в белом кадиллаке, проезжая мимо, высунулся в окно и заорал: «Эй ты, чучело с гнездом на голове, сука неповоротливая, давай!» Он чуть ее не сбил. Но Делоис как ни в чем не бывало продолжала размеренно идти и даже не оглянулась.

Я обязана Луиз Бриско, что умерла в доме моей матери, снимая комнату с мебелью, но без постельного белья, зато с возможностью пользоваться кухней. Я принесла ей стакан теплого молока, которое она не стала пить и смеялась надо мной, когда я решила сменить ей простыню или вызвать врача.

– Что толку ему звонить? Ну разве что он очень хорошенький, – сказала Миз Бриско. – За мной никого не посылали, сама на свет явилась. И обратно вернусь так же. Так что мне

тут если кто и нужен, так только красавчик.

Пахло в комнате так, что было ясно: врет.

– Миз Бриско, – ответила я. – Я очень о вас беспокоюсь.

Она глянула на меня краем глаза, будто бы я сделала ей предложение, от которого придется отказаться, но которое она всё же ценит. Ее огромное, распухшее тело покоилось под серой простыней, а сама она многозначительно улыбалась.

– Ну что же ты детка, всё в порядке. Я не в обиде. Знаю, что ты не специально, просто характер у тебя такой, вот и всё.

Обязана я и белой женщине, явившейся мне во сне. Она стояла за мной в очереди в аэропорту и молча смотрела, как ее ребенок раз за разом нарочно меня толкал. И когда я обернулась сказать ей, что, если она не приструнит ребенка, придется вмазать ей по челюсти, то увидела по зубам она уже получила. И ее, и ребенка избили, лица у них были в кровоподтеках, а под глазами синяки. Я отвернулась, и ушла от них в печали и ярости.

Я обязана той бледной девушке, что среди ночи подбежала к моей машине на Статен-Айленде, босая, в одной ночной рубашке. Она плакала и кричала:

– Леди, пожалуйста, помогите мне, ох, помогите... пожалуйста, отвезите меня в больницу, леди...

В ее голосе перезрелые персики мешались с дверными звонками, ровесница моей дочери, она бегала по кривой без-

людной Вандузер-стрит.

Я тут же остановилась и потянулась, чтобы открыть дверцу. Был разгар лета.

– Да, да, конечно, постараюсь помочь, – сказала я. – За-лезай.

Но когда она разглядела меня в свете уличного фонаря, ее лицо исказилось от страха.

– О нет! – взвыла она. – Не вы! – Развернулась и рванула прочь.

Что в моем Черном лице вселило в нее такой ужас? За-ставило упустить возможность, угодив в расщелину между мной настоящей и своим представлением обо мне. Остаться без помощи.

Я поехала дальше.

В зеркале заднего вида я заметила, как девушку настигло воплощение ее ночного кошмара – кожаная куртка, кожаные ботинки, мужчина, белый.

Я ехала и думала, что, похоже, ее жизнь оборвется глупо.

Я обязана первой женщине, которой добивалась и которую бросила. Она научила меня тому, что женщины, желающие без нужды, обходятся дорого и порой доводят до разорения, а женщины, нуждающиеся без желания, опасны: они поглощают тебя, притворяясь, будто сами того не замечают.

Я обязана батальону рук, в которых искала прибежища и иногда его находила. Тем, кто помогал мне, выталкивая на беспощадное солнце, откуда я выходила почерневшей, но

став целой.

Женщинам, ставшим частью меня и продолжившим мой
путь.

Становлению.

Афрекете.

Пролог

Я всегда хотела быть и мужчиной, и женщиной, уместить самые сильные и богатые части моей матери и моего отца внутри / в себе – делить свое тело с долинами и горами, как земля делит себя с холмами и вершинами.

Я бы хотела войти в женщину так, как может любой мужчина, и чтобы вошли в меня – оставлять и быть оставленной, – быть горячей, и твердой, и мягкой – всё сразу в деле нашей любви. Я бы хотела двигаться вперед, а в иное время быть в покое, или быть движимой. Сидя в ванне и играя с водой, я люблю чувствовать глубину своих частей, скользящих, и складчатых, и нежных, и глубоких. В другой раз я люблю фантазировать о самой сердцевине, моей жемчужине, выпирающей части меня, твердой, и чувственной, и уязвимой – но иначе.

Я чувала старинный треугольник «мать-отец-ребенок» с «я» в его древней утробе – как он удлиняется и распластывается в элегантную мощную триаду «бабушка-мать-дочь», где «я» ходит взад-вперед, течет в любую или одну лишь сторону, как надо.

Женщина навсегда. Мое тело, живой образ другой жизни – старшее, длиннее, мудрее. Горы и долины, деревья, утесы. Песок, и цветы, и вода, и камень. Сделанное в земле.

Гренадцы и барбадосцы ходят как африканцы. А вот тринидадцы нет.

Посетив Гренаду, прогуливаясь по ее улицам, я увидела корень сил моей матери. Я думала: вот она, страна моих пра-матерей, моих долготерпеливых матерей, этих Черных островных женщин, которым их дело давало самоопределение. «Из островных женщин получаются хорошие жены; что бы ни произошло, они знавали времена и похуже». В них африканская острота мягче, и они мерно шагают по теплым от дождя тротуарам с самоуверенной нежностью, которую я помню в силе и уязвимости.

Мои мать с отцом приехали в эту страну в 1924 году, ей двадцать семь, ему двадцать шесть. Они были женаты год. Она соврала о своем возрасте в иммиграционной службе, потому что ее сестры, которые уже были тут, писали ей, что американцы хотят в работницы молодых и сильных, и Линда боялась, что для работы слишком стара. Ведь дома она считалась уже старой девой, пока наконец не вышла замуж.

Отец устроился разнорабочим в старую «Уолдорф-Асторию», где сейчас стоит Эмпайр-стейт-билдинг, а мать – туда же горничной. Отель закрылся на снос, и она пошла посудомойкой в чайную лавку на углу Коламбус-авеню и 99-й улицы. Уходила до рассвета и трудилась по двенадцать часов в

сутки семь дней в неделю без выходных. Владелец говорил матери, что ей стоит радоваться работе, – обычно в заведение «испанских» девушек не брали. Знал бы он, что Линда – Черная, он бы ее вовсе не нанял. Зимой 1928 года у матери начался плеврит, и она чуть не умерла. Пока мать еще болела, отец пошел в чайную лавку за ее униформой, чтобы постирать. Увидев его, владелец понял, что моя мать Черная, и тотчас же ее уволил.

В октябре 1929 года родился их первый ребенок и обрушился фондовый рынок. Мечта родителей о возвращении домой ушла на задний план. Крошечные искорки этой мечты тлели на протяжении долгих лет, пока мать выискивала тропические фрукты «под мостом» и жгла керосиновые лампы. Искорки эти раздувала ее ножная швейная машинка, ее жареные бананы и любовь к рыбе и морю. Западня. Как мало мать знала о стране незнакомцев на самом деле. Как работает электричество. Где ближайшая церковь. Где и когда получить подачку с молочной кухни – хотя нам не разрешали пить эту «милостыню».

Она знала, что надо кутаться от свирепого холода. Знала о «Райских сливках» – твердых овальных конфетках, вишнево-красных с одной стороны, ананасно-желтых с другой. Она знала, какие вест-индийские лавки на Ленокс-авеню держат их на прилавках, в стеклянных банках с откидной крышкой. Знала, как желанны «Райские сливки» для истосковавшихся по сладостям маленьких детей и как важно сохранять дис-

циплину во время долгих походов за покупками. Она точно знала, сколько именно импортных конфеток можно обсосать, перекаывая во рту, пока нехорошая аравийская камедь да ее кислотные британские зубки не рассекут розовую шкуру языка, вызывая мелкие красные прыщики.

Она знала, какие масла смешивать от ссадин и сыпи, как избавляться от обрезков ногтей и волос с гребня. Как жечь свечи на День всех усопших, отпугивая сукоянтов, чтобы те не пили кровь у ее малюток. Она знала, как благословлять пищу и какие молитвы читать перед сном.

Она научила нас молиться Богоматери – в школе об этом не рассказывали.

Вспомни, о всемилостивая Дева Мария, что испокон веков никто не слышал о том, чтобы кто-либо из прибегающих к тебе, просящих о твоей помощи, ищущих твоего заступничества, был тобою оставлен. Исполненная такого упования, прихожу к тебе, Дева и Матьрь Всевышнего, со смирением и сокрушением о своих грехах. Не презри моих слов, о Матьрь предвечного слова, и благосклонно внемли моей просьбе.

Помню, ребенком я часто слышала, как мать произносила эти слова мягко, еле дыша, когда случались кризис или катастрофа: ломалась дверца холодильного шкафа; выключали электричество; сестра рассекала себе губу, гоняя на одолженных коньках.

Эти слова слышали мои детские уши, и я раздумывала

о таинстве той Богоматери, к которой моя стойкая строгая мать шепотом обращала столь прекрасный зов.

И, наконец, моя мать знала, как запугать детей так, чтобы они пристойно вели себя на людях. Она знала, как притвориться, будто еда, что осталась дома, – самая желанная, тщательно подготовленная.

Она знала, как создать добродетель из необходимости.

Линда скучала по тому, как бьется прибой о волнорез у подножья холма Ноэля, горбатого и загадочного склона острова Маркиз, возвышающегося над водой в полумиле от берега. Она скучала по быстрому лёту банановых певунов, и по деревьям, и по резкому запаху древовидных папоротников, обрамляющих дорогу под горку в городок Гренвилл. Она скучала по музыке, которую нарочно слушать не приходилось, потому что та вечно была вокруг. И больше всего она скучала по воскресным прогулкам на лодке, что везла ее к тетушке Энни на Карриаку.

В Гренаде у каждого есть песня на любой случай. Была своя песня в табачной лавке, отделе универмага, где Линда заправляла с семнадцати лет.

Три четверти крестика

И замкнутый круг,

Два полукруга и перпендикуляр встречаются вдруг.

Припев помогал узнать магазин тем, кто не мог прочитать

название «ТАБАК».

Песни водились повсюду, была даже одна о них, о девицах Бельмар, что вечно задирали нос. И никогда нельзя было говорить о делах на улице слишком громко, а то на следующий день услышишь, как твое имя склоняют в песне на углу. Дома она научилась от сестры Лу осуждать сочинение бесконечных песенок как постыдную, простецкую привычку, недостойную приличной девушки.

Но теперь в этой холодной, пронзительной стране под названием «америка» Линда скучала по музыке. Она скучала даже по раздражению, которое вызывали посетители ранним субботним утром своей беспечной болтовней и нечеткими ритмами, пока щебетали по пути из ромовой лавки домой.

Она многое знала про еду. Но к чему это всё сумасшедшим, среди которых она очутилась, если те готовили баранью ногу, даже не обмыв, и жарили самую жесткую говядину без воды и крышки? Тыква для них была лишь ребячьей забавой, а к мужьям они относились лучше, чем к собственным детям.

Она не знала назубок галерей Музея естественной истории, но ей было известно, что туда стоит отвести детей, если хочешь, чтобы те выросли умными. Оказавшись там с ними, она пугалась и щипала каждую из нас, девочек, за мясистую часть предплечья – раз за разом целый день. Считалось, что это из-за нашего плохого поведения, но на самом деле – потому что под аккуратным козырьком музейного работника

она видела бледно-голубые глаза, уставившиеся на нее и на ее детей, как будто бы мы плохо пахли, и от этого делалось страшно. *Такое* не проконтролируешь.

Что еще знала Линда? Она знала, что можно заглянуть людям в лицо и понять, что они будут делать, задолго до того, как действие совершено. Она знала, каков грейпфрут внутри – желтый или розовый, – до того, как он успевал созреть, и что делать с остальными – бросить их свиньям. Но в Гарлеме свиней не было, а грейпфруты порой попадались только такие – годные для свиней. Она знала, как предотвратить воспаление в открытой ране или порезе, разогрев лист черного вяза над костром, пока тот не пожухнет в руке, и втерев сок в порез, а потом обернув рану обмякшими зелеными волокнами, словно бинтом.

Но в Гарлеме не росли черные вязы, в Нью-Йорке не найти было листьев черного дуба. Ма-Марайя, ее бабушка-корневщица, хорошо ее обучила под сенью деревьев на холме Ноэля в Гренвилле, Гренада, с видом на море. Передали свои знания и тетушка Анни, и Ма-Лиз – мать Линды. Но теперь в знаниях этих нужды не было, да и муж ее, Байрон, не любил говорить о доме: его это расстраивало и подрывало решимость построить свое царство в новом мире.

Она не знала, верить ли росказням о белых работоторговцах, что читала в «Дейли Ньюз», но знала, что детей своих лучше в конфетные лавки не пускать. Нам даже не разрешали покупать грошовые шарики жвачки в автоматах метро.

Мало того, что это трата бесценных денег, так еще и автоматы эти были игровыми, то есть истинным злом, ну или по крайней мере подозревались в связи с белым рабством — *самым* жестоким, говорила она угрожающе.

Линда знала, что зелень бесценна, а свойства воды спокойны и целительны. Иногда в субботу после обеда, после того, как мать заканчивала уборку в доме, мы отправлялись на поиски парка, чтобы сидеть там и разглядывать деревья. Иногда мы доходили до берега реки Гарлем на 142-й улице и смотрели на воду. Иногда садились на поезд линии D и ехали на море. Когда мы оказывались близко к воде, мать сразу становилась тише, мягче, растерянной. Потом она рассказывала нам прекрасные истории про холм Ноэля с видом на Карибское море в Гренвилле, в Гренаде. Она рассказывала нам о Карриаку, где родилась, окутанная густым запахом лаймов. Рассказывала о растениях, что целили, и о растениях, что сводили с ума, и всё это казалось нам, детям, бессмыслицей, потому что мы их ни разу не видели. Еще она рассказывала нам о деревьях, и фруктах, и цветах, что росли за дверью того дома, где она выросла и жила, пока не вышла замуж.

Дом для меня был далек, незнаком, я там никогда не бывала, но хорошо его знала по рассказам, что исходили из уст матери. Она дышала, источала, напевала фруктовый запах холма Ноэля: свежий утром, жаркий в полдень, и я сплетала видения саподиллы и манго в сетчатый полог над своей раскладушкой в гарлемском многоквартирном доме среди хра-

пущей тьмы, пропахшей потом ночных кошмаров. И сразу становилось терпимо, хотя на деле – вовсе нет. Здесь, наконец, было пространство, временное пристанище, которое не примешь за вечное, – ни за связующее, ни за определяющее, сколько бы энергии и внимания оно ни требовало. Потому что, если жить безупречно и рачительно и смотреть в одну-другую сторону, переходя дорогу, – тогда однажды попадешь в вожденное место, вернешься *домой*.

Мы гуляли по холмам Гренвилла в Гренаде и, когда дул правильный ветер, чужали запах лаймовых деревьев Карриаку, острова специй неподалеку. Слушали барабанную дробь волн на Кик-эм-Дженни – рифе, чей громкий голос пронзал ночь, когда морские волны лупили его по бокам. Карриаку, откуда близнецы Бельмар отправились на шхунах, что снуют меж островами, в вояж, который привел их первым и последним делом в городок Гренвилл, – и там они женились на сестрах Ноэль, девушках с материка.

Девушки Ноэль. Старшая сестра Ма-Лиз, Энни, отправилась за своим Бельмаром обратно в Карриаку, прибыла невесткой и обосновалась там, стала самостоятельной женщиной. Вспоминала о корнях, о том, чему научила ее мать, Ма-Марайя. Иных сил набралась у женщин Карриаку. И в доме в холмах за Л'Эстерр помогла появиться на свет семи дочерям сестры своей Ма-Лиз. Моя мать Линда родилась в ожидающие ее, любящие ладони.

Здесь тетушка Энни жила среди других женщин, что про-

вожали своих мужей на парусных лодках, потом заботились о козах и об арахисе, сажали зерновые и лили ром в землю, чтоб кукуруза росла крепче, строили свои женские дома и рыли канавы для дождевой воды, собирали лаймы, сплетали свои жизни и жизни своих детей воедино. Женщины, которые переживали отсутствие мужей-мореходов с легкостью, принимаясь любить друг друга и любя и после их возвращения.

Мадивин. Дружевание. Зами. О том, как женщины Карриаку любят друг друга, в Гренаде ходили легенды – как и об их силе, как об их красоте.

В холмах Карриаку, меж Л'Эстерр и Харви-Вэйл родилась моя мать, женщина Бельмар. Лето проводила у тетушки Энни, собирала с женщинами лаймы. И так же мечтала о Карриаку в детстве, как я когда-то о Гренаде.

Карриаку, имя волшебное, как корица, мускатный орех, мускатный цвет, аппетитные кусочки гуавового джема (каждый с любовью укутан в крошечный лоскут воощенной бумаги, специально вырезанной из хлебной обертки), длинные стручки сушеной ванили и сладко пахнущие бобы тонка, мучнистые коричневые самородки прессованного шоколада для какао-чая – всё это на подложке из лавровых листьев прибывало каждое Рождество в хорошенько упакованной жестяной чайной банке.

Карриаку – его не обнаружить ни в школьном атласе Гуда, ни в «Мировой газете Джуниор Американа», ни на любой

попадавшейся мне карте. И вот, охотясь за этим волшебным местом на уроках географии или в свободное время в библиотеке, я никогда его не находила и убеждалась, что география моей мамы – фантазия, или безумие, или просто название устарело, а на самом деле она, возможно, говорит о месте, которое именуют Кюрасао, – голландском владении на другой стороне Антильских островов.

Но подспудно, пока я росла, *дом* всё еще оставался манким местом где-то там, которое пока не успели нанести на бумагу, обуздать и подшить в страницы учебника. Это был наш личный, мой собственный рай с кустовыми бананами и плодами, свисавшими с хлебного дерева, с мускатным орехом, и лаймом, и саподиллой, бобами тонка и красно-желтыми «Райскими сливками»¹.

¹ Годы спустя, получая степень по библиотечному делу, я провела сравнительный анализ атласов, их достоинств и особых преимуществ. Остров Карриаку стал для меня одной из реперных точек. Он встретился лишь однажды, в атласе Британники – в этой энциклопедии всегда гордились точной картографией колоний. Лишь в двадцать шесть лет я наконец увидела Карриаку на карте. – *Примечание Одри Лорд.*

Я часто думаю: отчего радикальная позиция всегда кажется мне самой верной; почему крайности, которых держаться тяжело, а то и мучительно, всегда привлекательнее, чем единый план, следующий четкой срединной линии?

Что мне действительно близко, так это особенный вид решимости. Упрямой, болезненной, приводящей в ярость, но эффективной.

Моя мать была очень могущественной женщиной. И это в те времена, когда сочетание слов «женщина» и «могущественная» в белом американском общеупотребительном лексиконе было почти невозможным, если только не сопровождалось каким-нибудь всё объяснявшим прилагательным-отклонением – типа «слепая», «горбатая», «сумасшедшая» или «Черная». Поэтому, когда я росла, под могущественной женщиной подразумевалось что-то совсем иное, чем под обычной женщиной, просто «женщиной». С другой стороны, не подразумевалось и «мужчины». Что же тогда? Был ли третий вариант?

В детстве я всегда знала, что моя мать отличается от других знакомых мне женщин, Черных или белых. Я думала, это потому, что она моя мать. Но чем она отличалась? Непонятно. Вокруг были и другие карибские женщины, в нашем районе и в церкви – полным-полно. Встречались среди них

и такие же светлокожие, как она, особенно среди тех, кто с «низких островов». Красная кость, так их называли. *Но чем отличалась она?* Я так и не узнала. Поэтому я до сего дня верю, что меня всегда окружали Черные дайки – то есть могущественные и ориентированные на женщин женщины, – которые бы скорей умерли, чем так себя назвали. И одна из них – моя мама.

Я всегда думала, что впервые научилась обращаться с женщинами у папы. Но он явно относился к матери совсем по-другому. Они наравне принимали решения и устанавливали правила как на работе, так и в семье. Каждый раз, когда нужно было обдумать что-то, касающееся нас, их троих детей, хотя бы покупку новых пальто, они уходили в спальню и там какое-то время на пару ломали голову. «Бз-з, бз-з», – доносилось из-за закрытой двери иногда на английском, а иногда – на патуа, том гренадском полиязыке, который они избрали своим лингва франка. Потом они вместе выходили и объявляли о принятом решении. Всё мое детство они говорили единым голосом, неразделимым и неоспоримым.

Когда родились дети, отец получил образование в сфере недвижимости и стал управлять меблированными комнатами в Гарлеме. Возвращаясь с работы по вечерам, тотчас после приветствия, он всегда быстренько выпивал в кухне стаканчик бренди – стоя, прямо в шляпе и пальто. Потом они с мамой сразу же удалялись в спальню, и мы слышали, как они

обсуждали события дня за закрытыми дверьми, даже если и виделись в их общем офисе всего за несколько часов до того.

Если кто-то из нас, детей, нарушал какое-либо правило, мы не на шутку тряслись в своих ортопедических ботинках, зная, что за этими дверьми решается наша судьба и выбирается наказание. Когда двери открывались, выносилось обоюдное и неопровержимое суждение. Если же надо было поговорить о чём-то важном при нас, мамочка и папочка переходили на патуа.

Родители в равной мере отвечали за правила и решения, поэтому, на мой детский взгляд, вероятно, мать была не женщиной – чем-то отличным. Повторюсь: мужчиной она точно не была. (Мы, дети, не потерпели бы отсутствия женскости так долго; наверное, запаковали бы свои *кра* и отправились восвояси до восьмого дня – эта возможность есть у всех африканских детских душ, которые попали не в свою среду.)

Мать отличалась от других женщин, и иногда это наполняло меня удовольствием и давало ощущение уникальности, приятной обособленности от других. Но иногда это причиняло и боль, и я думала: вот она – причина моих детских бед. *Если бы мать была как все прочие матери, она бы любила меня сильнее.* Но чаще ее отличие было как времена года или холодные деньки и парные июньские ночи. Просто было, без объяснений, без какой-либо на него реакции.

Мать и обе ее сестры были крупными и грациозными, их обширные тела словно подчеркивали решительность, с ко-

торой они передвигались по своим жизням в странном мире Гарлема и америки². По-моему, этим мама и отличалась от других: внушительностью, осанкой и выдержкой, с которой она себя несла. Ее внешний вид женщины, которая за себя отвечает и весьма сведуща, был скромнен и убедителен. Люди на улице считались с нею в вопросах вкуса, экономики, точек зрения, качества чего-либо, не говоря уже о том, кому занять освободившееся сиденье в автобусе. Однажды я ви-

² Одри Лорд по политическим и личным причинам придерживается строчного написания таких слов, как «америка», «христианский», «британский», «белый», и т. д. там, где языковая норма английского подразумевает обратное. Из тех же соображений она выбирает прописное написание слова «Черный», означающего расовую принадлежность. В первом случае это решение не всегда прослеживается в тексте перевода, так как в русском языке относительные прилагательные, образованные от названий стран и религий, пишутся со строчной. Следуя логике оригинала, перевод сохраняет написание с заглавной буквы таких слов, как «Цветной» (*англ.* Colored), «Negр» и производные (*англ.* Negro) – актуальных для своего времени названий и самоназваний Черных американцев, которые постепенно вышли из употребления как устаревшие и/или пейоративные. Исторически оба слова писались преимущественно со строчной буквы, против чего уже в конце XIX века Черным населением США была развернута общественная кампания, призванная закрепить практику написания «Negro» с прописной буквы вместо принижающей строчной. Поскольку все другие расовые и этнические обозначения писались с прописной, строчная «n» была лишь еще одной формой дискриминации. Афроамериканский общественный деятель Уильям Эдвард Бёркхардт Дюбуа писал в 1898 году: «Я верю, что восемь миллионов американцев заслуживают прописной „Н“» (*Burghardt DuBois W. E., The Philadelphia Negro: A Social Study. Boston, 1899, p. 1*). Несмотря на усилия активистов, белые издатели не спешили вносить изменения в свои руководства по стилю – нормативные документы, в которых закреплялись стандарты того или иного издания. – *Здесь и далее приводятся примечания редактора.*

дела, как голубовато-сери-карие глаза матери остановились на мужчине, который пробирался к пустому месту в автобусе, ходившем по Ленокс-авеню, и тот на полпути запнулся, застенчиво усмехнулся и, будто продолжая движение, предложил сесть пожилой женщине, что стояла в проходе напротив него. Я довольно рано стала понимать, что иногда люди начинали вести себя иначе из-за ее мнения, которое мать порой даже не высказывала или вообще не осознавала.

Она была женщиной очень скрытной и весьма застенчивой, но довольно импозантной и деловой внешне. Полногрудая, гордая, нехилого размера, она пускала себя по улице, как корабль на всех парусах, и обычно тянула меня, спотыкающуюся, за собой. Немногие смельчаки решались подойти к этому кораблю поближе.

Совершенно незнакомые люди оборачивались к ней в мясной лавке и спрашивали, что она думает о свежести этого куска, нравится ли он ей, годится ли на то или иное блюдо, а нетерпеливый мясник ждал, пока она вынесет суждение, явно раздражаясь, конечно, но всё же сохраняя почтительность. Незнакомцы рассчитывали на мою мать, и я никогда не понимала почему, но в детстве мне казалось, что у нее гораздо больше силы, чем было на самом деле. Матери нравился этот ее имидж, и, как я сейчас понимаю, она изо всех сил старалась скрыть от нас, детей, проявления беспомощности. В двадцатых – тридцатых Черной иностранке в городе Нью-Йорк приходилось непросто, особенно когда она сама доста-

точно светлая, чтобы сойти за белую, а вот ее дети – нет.

В 1936–1938 годах 125-я улица между Ленокс и Восьмой авеню, ставшая потом шопинг-меккой Черного Гарлема, была расово-смешанной, но управляли магазинами и распоряжались клиентурой только белые. В иных местах Черных посетителей не привечали, а Черных продавцов не имелось во все. Там же, где наши деньги всё же принимали, делали это неохотно и часто драли втридорога. (Именно с этими обстоятельствами боролся молодой Адам Клейтон Пауэлл-младший, устроив пикет и бойкотируя магазины Блумштейна и Вайсбеккера, после чего на 125-й стали давать работу и Черным.) Напряженность на улице была высокой, как обычно случается в расово-смешанных зонах в период изменений. Я помню, как совсем маленькой ежилась от одного особенного звука, хрипло-резкого грудного скрежета, потому что чаще всего это значило, что секунду спустя у меня на ботинке или пальто окажется гадкий шарик серой мокроты. Мать стирала ее маленькими кусочками газеты, которые всегда носила в сумке. Иногда она ворчала – вот, мол, люди низшего класса, ни ума, ни манер у них не хватает, чтобы не плевать против ветра, где бы они ни оказались, – и внушала мне, что унижение было лишь случайностью. Мне и в голову не приходило усомниться в ее словах.

И лишь много лет спустя я однажды спросила ее в разговоре: «Ты заметила, что люди стали как-то реже плевать против ветра?» И выражение лица матери показало мне, что

я случайно ткнула в одну из потаенных болевых точек, о которых никогда нельзя упоминать. Как это типично для моей матери, особенно в моем раннем детстве: если она не могла удержать белых, которые плевали в ее детей лишь потому, что те Черные, значит, надо было настаивать, что дело не в цвете кожи, а в чём-то другом. Это был ее любимый подход – изменение реальности. А если не можешь изменить реальность, то измени свое восприятие.

Родители заставляли нас верить в то, что по большей части мир у них в кармане, и если мы втроем будем себя правильно вести – то есть много работать и слушаться, – то и у нас в кармане он будет тоже. Это сильно сбивало с толку, особенно учитывая замкнутость нашей семьи. Всё, что в нашей жизни шло не так, было искренним выбором родителей. Всё, что шло так, тоже происходило из-за них. Любые сомнения в реальности ситуации безотлагательно и спешно подавлялись, как крошечные, но несносные мятежи против святого авторитета.

Люди во всех наших книжках с картинками совсем не походили на нас. Белые и светловолосые, они жили в домах, окруженных деревьями, и у них были собаки по кличке Спот. Я таких людей лично не знала, и они казались столь же реальными, как Золушка, живущая в замке. О нас историй никто не писал, но люди в толпе всё равно спрашивали мою маму, как им куда-нибудь добраться.

И из-за этого я в детстве решила, что мы, должно быть,

богачи, хотя у матери не было денег даже на перчатки для обмороженных рук или на настоящее зимнее пальто. Она до-стирывала белье и быстро одевала меня на зимнюю прогулку – заодно мы забирали сестер из школы на обед. Пока до-бирались до школы Святого Марка, в семи кварталах от до-ма, мамины прекрасные длинные руки покрывались жутки-ми красными пятнами и цыпками. Потом, помню, она осто-рожно потирала их под холодной водой и заламывала от бо-ли. Но если я спрашивала ее об этом, отмахивалась: мол, так у них, «дома», было принято избавляться от цыпок; и когда она говорила, что просто ненавидит носить перчатки, я тоже ей верила.

Отец приходил с работы или с политсобрания поздно вечером. После ужина мы, девочки, втроем делали уроки, усевшись вокруг стола. Потом сестры по коридору уходили спать к себе. Для меня мать ставила раскладушку в передней спальне и следила, чтоб я приготовилась ко сну.

Она гасила электричество по всему дому, и из своей кро-вати я видела, как она сидит в двух комнатах от меня за тем же кухонным столом, читает «Дейли Ньюз» при свете керо-синовой лампы и ждет отца. Она всегда говорила, что керо-синовая лампа напоминает ей о «доме». Уже взрослой я по-няла, что она пыталась сэкономить несколько пенни на элек-тричестве, пока отец не приходил и не включал свет со сло-вами: «Лин, ты чего в темноте сидишь?» Иногда я засыпа-ла под мягкий *чанк-а-та-чинк* ее ножной швейной машин-

ки «Зингер», пока она прострачивала простыни и наволочки из небеленой парусины, купленной на распродаже «под мостом».

В детстве я видела маму плачущей лишь дважды.

Первый раз – когда мне было три года и я мостила на приступке стоматологического кресла в городской стоматологии на 23-й улице, пока студент-дантист вырывал ей с одной стороны все верхние зубы. Дело было в огромном кабинете, полном кресел, в которых точно так же стонали другие люди, а юноши в белых халатах склонялись над их разинутыми ртами. Многочисленные бормашины и инструменты грохотали так, будто на углу шли земляные работы.

Потом мама сидела на улице на длинной деревянной скамейке. Я смотрела, как она откинулась назад с закрытыми глазами. На мои попытки похлопать ее или подергать за пальто она не отвечала. Вскарабкавшись на сиденье, я заглянула маме в лицо, чтобы понять, почему она спит посреди дня. Из-под закрытых век сочились капельки слез и бежали по щеке к уху. Я тронула влагу на высокой скуле в ужасе и восхищении. Мир переворачивался. Моя мать плакала.

Другой раз случился через несколько лет: я увидела, как мать плачет, как-то ночью, когда меня уложили у родителей в спальне. Дверь в гостиную была нараспашку, и я смотрела через щелку в другую комнату. Проснулась от того, что родители разговаривали по-английски. Отец только что вер-

нулся и дышал спиртным.

– Я надеялась не дожить до того дня, когда ты, Би, окажешься в кабаке и будешь там наливаться с гулящей женщиной.

– Ну Лин, о чём ты? Всё ж совсем не так, сама знаешь. В политике надо со всеми дружить-дружить. Нет тут ничего такого страшного.

– Если уйдешь раньше моего, я никогда на другого мужчину даже не посмотрю и от тебя того же ожидаю, – из-за слез голос матери звучал странно глухо.

Это были годы накануне Второй мировой войны, когда депрессия подкосила всех, а особенно Черных.

Хотя нас, детей, могли поколотить за монетку, потерянную по пути домой из магазина, матери нравилось вообразить себя щедрой дамой – спустя годы она с горечью осуждала меня за то же самое, случись мне что-нибудь подарить подруге. Но одно из моих самых ранних воспоминаний о Второй мировой – незадолго до ее начала, когда мать делила фунтовую банку кофе между двумя старыми друзьями семьи, случайно зашедшими в гости.

Хотя она всегда утверждала, что ей не до политики и государственных дел, откуда-то мать моя почуяла ветры войны и, несмотря на нашу нищету, принялась набивать секретный шкафчик под кухонной раковиной сахаром и кофе. Я помню, как еще задолго до Пёрл-Харбора, открывая очередной пятифунтовый мешок сахара, купленный на рынке, мы от-

сыпали треть в начищенную жестянку, чтобы держать ее под раковиной, куда не доберутся мыши. То же происходило с кофе. Мы покупали кофе «Бокар» в магазине A&P, где его мололи и распределяли по пакетикам. Дома мы делили этот пакет: часть – в кофейную банку у плиты, часть – в жестянку под раковиной. Дома нас мало кто навещал, но в войну, когда кофе и сахар выдавали строго по талонам, все гости уходили от нас со стаканом того или другого.

Запастись мясом и маслом было невозможно, и в начале войны из-за решительного отказа матери от заменителей сливочного масла (только «другие люди» использовали маргарин – те же «другие люди», что давали детям бутерброды с арахисовым маслом на обед, мазали сэндвичи спредом вместо майонеза и ели свиные отбивные и арбузы) нам приходилось выстаивать очереди по всему городу каждым промозглым субботним утром, чтобы успеть к открытию магазина и получить причитающуюся нам четверть фунта масла, не предусмотренного продпайком. Во время войны мать постоянно держала в голове список всех супермаркетов, до которых можно было доехать на автобусе без пересадки, и часто брала меня с собой, потому что я могла ездить бесплатно. Она также подмечала, где люди подружелюбней, а где нет, и после войны мы еще много лет избегали некоторых мясных лавок и магазинов, потому что кто-то когда-то ущемил там мать при добыче какого-то бесценного дефицита, а она никогда ничего не забывала и прощала редко.

В пять лет я, с моими серьезными и официально признанными проблемами со зрением, пошла в класс для слабовидящих детей в местной общеобразовательной школе на углу 135-й улицы и Ленокс-авеню. На углу стояла голубая деревянная будка, где белые женщины раздавали бесплатное молоко Черным матерям с детьми. Я жаждала отведать хоть каплю молока с «Бесплатной молочной кухни Хёрст» в этих хорошеньких маленьких бутылочках с красными и белыми крышками, но мать никогда не разрешала его пить, потому что это милостыня – а она плоха и унизительна, к тому же молоко теплое, и от него может затошнить.

Моя школа стояла через авеню от школы католической, куда ходили мои старшие сестры, и общеобразовательной их пугали всю мою жизнь. Если не станут слушаться и получать хорошие отметки за учебу и поведение, могут и «перевести». «Перевести» звучало почти так же страшно, как спустя десятки лет – «депортировать».

Конечно, все знали, что в общеобразовательной дети только и умеют, что «драться», и каждый день после уроков можно «получить» вместо того, чтобы, как в католической, шествовать из дверей двумя аккуратными рядами к углу, где ждали мамы, – шагать, словно маленькие роботы, тихие, но защищенные, небитые.

Увы, в католической школе не было нулевки, особенно для детей со слабым зрением.

Несмотря на мою близорукость, а может, из-за нее, я научилась читать тогда же, когда и говорить, то есть где-то за год до школы. Хотя, пожалуй, словом «научилась» вряд ли можно описать то, как я начала говорить, – до сих пор не могу с уверенностью утверждать, почему молчала до этого: потому что не умела или потому что не могла сказать ничего такого, что было позволено произнести без риска схлопотать. В вест-индских семьях довольно рано осознают необходимость самосохранения.

Я научилась читать у миссис Августы Бейкер, детской библиотекари из старой библиотеки на 135-й улице – недавно здание снесли, чтобы построить новое и разместить там коллекцию Шомбурга с материалами по афроамериканской истории и культуре³. Единственное доброе дело, что совершила эта дама, земля ей пухом, за всю свою жизнь. И это ее деяние не раз спасало меня – коль не тогда, так после, в моменты, когда умение читать было единственным, за что я могла держаться, и только так и выстаивала.

Одним ясным днем мать зажимала мое ухо, чуть не отрывая, а я лежала, раскинувшись на полу детской комнаты, словно яростная коричневая жабка, орала как резаная и позорила мать до смерти. Знаю, что было это либо весной, либо

³ Новое здание Шомбурговского центра исследования афроамериканской культуры на Ленокс-авеню построили в 1980 году.

ранней осенью – как сейчас ощущаю жалящее нытье в верхней части руки, не защищенной теплым пальто. В попытке меня заткнуть мамины пальцы уже успели обработать эту самую руку. Чтобы избежать ее безжалостных пальцев, я брякнулась на пол и ревела от боли, а они подбирались снова, на этот раз к ушам. Мы ждали двух моих старших сестер, чтобы забрать их с часа сказки, который проходил на другом этаже тихой, пахнувшей чем-то сухим библиотеки. Мои вопли пронзали ее почтенную тишину.

Внезапно я посмотрела вверх – надо мной стояла библиотечарша. Мамины руки повисли по бокам. С пола, где я лежала, казалось, что миссис Бейкер – всего-навсего еще одна гигантская женщина, что сейчас задаст мне жару. У нее были огромные, светлые, с тяжелыми веками глаза и очень тихий голос – и говорила она, не проклиная меня за учиненный шум, а просто так:

– Хочешь услышать сказку, девочка?

Мое бешенство отчасти было вызвано тем, что меня как слишком маленькую не пускали на тайный праздник жизни под названием «час сказки», а тут вдруг странная дама предлагает мне мою собственную историю.

Я не смела даже глянуть на мать, побаиваясь, что она скажет: мол, нет, ты не заслужила сказок. Всё еще потрясенная внезапной сменой событий, я забралась на табурет, который миссис Бейкер мне подставила, и подарила ей всё свое внимание. Этот опыт оказался для меня новым, любопытства

моего было не утолить.

Миссис Бейкер читала мне «Мадлен» и «Хортон высиживает яйцо», обе книги – в стихах и с прекрасными огромными картинками, которые я разглядывала сквозь новенькие очки, что держались на моей непокорной голове – от дужки к дужке – на черной резинке. Потом последовала история про медведя по имени Герберт, который съел целое семейство людей, одного за другим, начиная с родителей. К ее окончанию я уже была предана чтению фанатически – на всю оставшуюся жизнь.

Когда миссис Бейкер закончила читать, я взяла книгу из ее рук и провела пальцем по крупным черным буквам, снова рассматривая красивые яркие картинки. Именно тогда я решила, что обязательно научусь делать так сама. Я показала на черные отметины, которые, как я смекнула, были отдельными буквами – не такими, как в более взрослых книжках сестер, где мелкий шрифт сливался на странице в серое пятно, – и заявила, обращаясь ко всем, кто был готов меня услышать:

– Я хочу читать.

Мать удивилась, но испытала облегчение, и оно пересилило ее раздражение от моих «щенячьих выходок». Пока миссис Бейкер читала, мать держалась на заднем плане, но потом рванула вперед, умиротворенная и впечатленная. Я заговорила! Она сняла меня с низкой табуретки и, к моему удивлению, поцеловала прямо на глазах у всех, кто был в библио-

теке, включая миссис Бейкер.

Выражать привязанность на людях – беспрецедентно, совсем не в характере матери. Почему она так поступила, я так и не поняла, хотя ощущения были приятные и теплые. Наконец-то я хоть что-то сделала правильно.

Мать усадила меня обратно на табурет и повернулась к миссис Бейкер:

– Нет предела чудесам, – она была так взбудоражена, что я забеспокоилась и вновь затаилась и примолкла.

Мало того, что я просидела на месте гораздо дольше, чем ей представлялось возможным, – я еще и вела себя тише мышки. А потом вместо того, чтобы орать, начала говорить, хотя после четырех лет бесконечных волнений она уже отчаялась услышать от меня хоть что-то толковое. Даже одно связное слово от меня считалось редким подарком. Врачи в поликлинике подрезали мне уздечку под языком, из-за чего я уже не считалась официально косноязычной, и убедили мать в том, что я не умственно отсталая, однако, несмотря на это, она всё еще сомневалась и боялась. Любая альтернатива немоте искренне ее радовала. О том, чтобы выкручивать уши, уже не было и речи. Мать взяла азбуку и книжки с картинками, предложенные миссис Бейкер, и мы отправились восвояси.

Я сидела за кухонным столом с матерью, обводя и называя буквы. Вскоре она научила меня проговаривать алфавит по порядку и задом наперед, как делали в Гренаде. Хотя сама

она доучилась лишь до седьмого класса, в последний ее год в школе мистера Тейлора в Гренвилле ей поручили втолковывать первоклашкам азбуку. Она показывала, как писать мое имя печатными буквами, под истории о строгости мистера Тейлора.

Мне не нравилось, как в моем имени Одри – Audrey – у буквы «у» свисает хвостик, и я вечно о ней забывала, что очень беспокоило мать. В четыре года меня радовало ровное AUDRE LORDE, но я всегда добавляла «у», потому что мама это одобряла и потому что, как она мне объяснила, надо делать как полагается, а полагается – с хвостиком. Никаких отклонений от ее представлений о правильном и речи быть не могло.

Так что к тому времени, когда я, умытая, с косичками и в очках, прибыла в детский сад для слабовидящих, я уже могла читать книги с крупным шрифтом и писать свое имя обычным карандашом. За этим последовало мое первое горькое разочарование в школе. Между тем, что я умела и чего от меня ожидали, не было ничего общего.

В просторном классе нас, маленьких Черных детей с серьезными нарушениями зрения, было всего семь или восемь. Кто с косоглазием, кто с близорукостью, одна девочка – с повязкой на глазу.

Нам выдали специальные тетради, чтобы в них писать: коротенькие, но широкие, в широкую же линейку, на желтой бумаге. Они были похожи на нотные блокноты моей сестры.

Дали нам и восковые мелки, чтобы ими писать: толстые, черного цвета. Однако крупные, Черные, полуслепые девочки, к тому же амбидекстры в вест-индийской семье, а особенно у моих родителей, росли и выживали, только если следовали жестким правилам. Я уже хорошо усвоила, что мелками писать нельзя, а в нотных блокнотах – тем более, так как дома меня не раз крепко шлепали за эту ошибку.

Я подняла руку. Когда учительница поинтересовалась, чего я хочу, я попросила обычной бумаги, чтобы писать на ней, и простой карандаш. Попросила на свою погибель. «У нас тут карандашей нет», – прозвучал ответ.

Первое задание: повторить первую букву своего имени в той самой тетради тем самым восковым мелком. Учительница прошла по комнате и вписала соответствующую букву в каждую из тетрадей. Подойдя ко мне, она начертила большую печатную «А» в верхнем левом углу первой страницы и вручила мне мелок.

– Не могу, – сказала я. Ведь я прекрасно знала, что мелком рисуют каракули на стенке, за что потом получают по заднице, или обводят картинки по контуру, но никак не пишут. Чтобы писать, нужен обычный карандаш.

– Я не могу! – снова в ужасе произнесла я и заплакала.

– Вы только представьте: такая большая девочка! Жаль, придется рассказать твоей матери, что ты даже не пыталась – ты, такая большая!

И правда. Хотя лет мне было мало, я оказалась самым

крупным ребенком в классе – сильно крупнее других, на что уже обратил внимание мальчишка, сидевший за мной и шептавший: «Толстуха, толстуха!» – всякий раз, когда учительница отворачивалась.

– Ну, хотя бы попробуй, милая. Уверена, у тебя получится написать «А». Маме будет так приятно увидеть, что ты постаралась, – она потрепала меня по тугим косичкам и повернулась к следующей парте.

Учительница нашла волшебные слова, потому что я бы по рису на коленях прошлась, лишь бы угодить матери. Я взяла тот самый противный мягкий нечеткий мелок и представила, что это хорошенький, аккуратный карандаш с острым кончиком, элегантно заточенный тем же утром моим отцом за дверью ванной при помощи маленького перочинного ножика, который всегда лежал у него в кармане халата.

Я пониже наклонилась над партой, которая пахла старой слюной и резиновыми ластиками, и на той самой жуткой желтой бумаге с потешно широкими линиями старательно вывела: «AUDRE». С прямыми строчками у меня всегда не ладилось, сколько бы пространства вокруг ни было, поэтому буквы сползли по странице наискосок как-то так:

A

U

D

R

E

В короткой тетрадке место кончилось, ни для чего другого его уже не хватало. Я перевернула страницу и дальше написала, тщательно и от души, прикусив губу:

L

O

R

D

E

– отчасти красуясь, отчасти радуясь возможности угодить.

К этому времени госпожа учительница вернулась к своему месту перед доской.

– Теперь, как только закончите рисовать свою букву, дети, – сказала она, – поднимите руку повыше! – И голос ее расплылся от улыбки. Удивительно: я до сих пор его слышу, но лица ее не вижу и даже не уверена, была она Черной или белой. Я помню ее запах, но не цвет ее ладони на моей парте.

Когда я услышала это, моя рука взметнулась в воздух, и

я принялась махать ею изо всех сил. Нельзя начинать говорить, не подняв предварительно руку, – единственное из школьных правил, которое сестры обстоятельно мне разъяснили. Так что и я подняла руку, трепеща в ожидании общественного признания. Я уже представляла, что учительница скажет матери, когда та придет за мной в полдень. Мать поймет, что я и правда вняла ее наставлению «вести себя хорошо».

Госпожа учительница прошла между рядами и встала около моей парты, глядя в тетрадку. Внезапно воздух вокруг ее ладони, лежавшей на парте, сгустился и стал тревожным.

– Ну и ну! – произнесла она колючим голосом. – Полагаю, я велела тебе нарисовать букву. А ты даже не попыталась сделать то, что тебе сказали. Перелистни-ка страницу и пиши букву, как остальные... – Тут она перевернула страницу и увидела вторую часть моего имени, разъехавшуюся по странице.

Повисла ледяная пауза, и я догадалась, что сделала что-то жутко неправильное. Я тогда понятия не имела, что могло так ее разозлить, но не гордость же моя от способности написать свое имя?

Учительница прервала тишину, и в голосе ее зазвучали коварные нотки.

– Н-да, – сказала она. – Вижу, мы имеем дело с барышней, которая не хочет поступать, как ей велят. Придется рассказать обо всем ее матери.

Когда она вырвала лист из моей тетради, весь класс захихикал.

— А теперь я дам тебе последний шанс, — объявила она и изобразила еще одну четкую «А» вверху новой страницы. — Скопируй-ка эту букву так, как она написана, а остальные ребята тебя подождут, — она вложила мелок мне в руку.

К тому моменту я уже вообще не понимала, чего эта дама от меня хочет, поэтому принялась рыдать и прорыдала остаток дня, пока в полдень за мной не пришла мать. Я рыдала и на улице, пока мы заходили за сестрами, и большую часть пути домой, пока мать не пообещала надавать мне по ушам, если я не перестану позорить ее на улице.

После обеда, когда Филлис и Хелен вернулись в свою школу, я, помогая матери вытирать пыль, рассказала, как мне дали мелки, чтобы ими писать, и как учительница не хотела, чтобы я писала свое имя. Вечером, когда пришел отец, они отправились на совет. Было решено, что мать поговорит с учительницей на следующий день, когда отведет меня в школу, и выяснит, что же я сделала не так. Об этом вердикте рассказали и мне — правда, довольно мрачно, ведь наверняка я что-то да натворила, раз госпожа учительница на меня разозлилась.

На следующее утро в школе учительница заявила матери, что я не кажусь ей готовой к детскому саду, потому что не умею следовать указаниям и не делаю, как говорят.

Мать прекрасно знала, что уж указаниям-то я следовать

умею, потому что приложила к тому массу усилий, моральных и физических: если я не выполняла ее распоряжений, мне делалось очень больно. Она также считала, что одной из главных задач школы было научить меня делать то, что мне говорят. По ее личному мнению, если школа с этой задачей не справляется, то и школой ее называть нечего, и она обязательно найдет другую, получше. Иными словами, мать была убеждена, что там мне самое место.

Тем же утром она отвела меня через дорогу в католическую школу и убедила монашек взять меня в первый класс, так как я уже умела читать и писать свое имя на обычной бумаге обычным карандашом. Сидя на первом ряду, я даже видела доску. Мать также сказала монашкам, что в отличие от моих двух сестер с их образцовым поведением, я довольно непокорна, поэтому, когда того требует дело, меня можно шлепать. Директриса мать Джозефа согласилась, и я начала учиться у католичек.

Мою учительницу в первом классе звали сестра Мэри Неустанной Помощи, и она была строжайшей командиршей, прямо как мать. Через неделю после начала школы она послала матери домой записку, в которой попросила не надевать на меня столько одежды, потому что тогда я не чувствую ремня на попе, когда наказывают.

Сестра Мэри Неустанной Помощи руководила нашим первым классом железной рукой посредством распятия. Ей было едва ли больше восемнадцати. Крупная, светловоло-

сая – по крайней мере, мне так кажется: волос монашек мы в те дни не видели. Но брови у нее точно были светлые, и предполагалось, что она, как и остальные сестры Святого Причастия, всецело посвящает себя призванию заботиться о «Цветных и Индейских детях америки». Но заботиться не всегда означало окружать заботой. А вот ощущение, что сестра МНП ненавидит либо преподавать, либо маленьких детей, сохранялось всегда.

Она разделила класс на две группы: Светлячков и Темненьких. В наше время, с его обостренной чувствительностью к расизму и использованию цветов, не придется и уточнять, какая из групп была для хороших учеников, а какая – для дрянных. Меня вечно причисляли к Темненьким, потому что я то много говорила, то ломала очки, то как-нибудь еще ужасно нарушала бесконечный список правил хорошего поведения.

Но два победных раза в том году я смогла ненадолго очутиться среди Светлячков. Обычно в Темненькие определяли тех, кто плохо себя вел или никак не мог освоить чтение. Я уже научилась читать, но о числах понятия не имела. Когда сестра МНП вызывала некоторых из нас отвечать на уроке чтения, она говорила: «Хорошо, дети, теперь перейдите на страницу шесть учебника». Или: «Листайте до девятнадцатой страницы, будем читать с самого ее начала».

Но я-то не понимала, где эти страницы, и стыдилась, что не знаю чисел, поэтому, когда подходила моя очередь, чи-

тать не могла – не понимала, где начать. Сестра обычно пыталась меня сориентировать по словам из текста, но потом переходила к следующему чтецу и вскорости отправляла меня в группу Темненьких.

Шел октябрь, второй месяц школы. Со мной за партой теперь сидел Элвин, и мальчика хуже него не было во всём классе. Одежда у него была грязная, пахло от него так, будто он давно не мылся, и ходили слухи, что однажды он назвал сестру МНП плохим словом, но это вряд ли, иначе бы его исключили навсегда.

Элвин выпрашивал у меня карандаш и без конца рисовал самолеты, с которых валились гигантские пенисообразные бомбы. Он вечно обещал отдать эти картинки мне, когда закончит. Но каждый раз, закончив, понимал, что картинка слишком хороша для девчонки, так что лучше оставить ее себе, а для меня сделать новую. Тем не менее я всё надеялась, что мне перепадет хотя бы одна: уж очень здорово он изображал самолеты.

Еще он чесал голову, осыпая перхотью наши общие азбуку или учебник, а потом говорил, что хлопья перхоти – это мертвые вши. Я ему верила и постоянно боялась подцепить заразу. Зато мы с Элвином вместе выработали систему чтения. Он не умел читать, но знал цифры, а я умела читать слова, но не могла найти правильную страницу.

Темненьких никогда не вызывали к доске – мы читали анонимно со своих сдвоенных парт, обычно ссутулившись

по краям, чтобы посередине оставалось место для наших двоих ангелов-хранителей. Но как только приходило время делиться книгой, наши ангелы-хранители оббегали нас и садились с краю. Таким образом Элвин показывал мне правильные страницы, названные учительницей, а я ему шептала правильные слова, когда наступал его черед читать. За неделю, которая следовала за изобретением этого плана, мы оба умудрились выбраться из Темненьких. И так как учебник у нас был общий, то к доске со Светлячками мы тоже выходили вместе, поэтому какое-то время дела шли довольно неплохо.

Но около Дня благодарения Элвин заболел, много отсутствовал и не вернулся в школу даже после Рождества. Я скучала по его рисункам с бомбардировщиками, но еще больше – по номерам страниц. После того как меня несколько раз вызвали отвечать в одиночку, а я не смогла ничего прочитать, я снова скатилась к Темненьким.

Спустя годы я узнала, что той зимой Элвин умер от туберкулеза и именно поэтому нам всем делали рентген в актовом зале после мессы, сразу после рождественских каникул.

Я проторчала в Темненьких еще несколько недель, практически не открывая рта на уроках чтения, если только не выпадали восьмая, десятая или двадцатая страницы – их номера составлялись из тех трех цифр, что я знала.

И вот на какие-то выходные нам дали первое письменное задание. Надо было попросить у родителей газеты, вырезать

оттуда слова, значения которых были нам известны, и составить из них простые предложения. Артикль *the* можно было использовать только один раз. Задание казалось простым, так как я тогда уже сама читала комиксы.

Воскресным днем после церкви, когда я обычно делала уроки, я заметила рекламу чая «Белая Роза Салада» на задней обложке журнала «Нью-Йорк Таймс», который мой отец тогда читал. Там была абсолютно восхитительная белая роза на красном фоне, и я решила, что ее непременно надо вырезать для картинки к заданию, – предложение надлежало проиллюстрировать. Я прошерстила журнал, пока не нашла сначала «я», а потом «люблю», и аккуратно приклеила их вместе с розочкой и словами «чай», «Белая», «Роза» и «Салада». Я хорошо знала эту марку – любимый чай матери.

Утром в понедельник мы пристроили свои аппликации на доску. И там среди двадцати однообразных «Мальчик бежал» и «Было холодно» красовалось «Я люблю чай Белая Роза Салада» с моим замечательным цветком на заднем плане.

Для Темненькой это было чересчур. Сестра МНП нахмурилась.

– Это самостоятельное задание, дети, – сказала она. – Кто помогал тебе с твоим предложением, Одри?

Я ответила, что справилась сама.

– Наши ангелы-хранители рыдают, когда мы говорим неправду, Одри. Завтра я буду ждать от твоей матери записку с сожалениями о том, что ты лжешь младенцу Иисусу.

Я рассказала об этом дома и на следующий день принесла записку от отца, где он подтверждал, что предложение – действительно моя работа. Я торжественно собрала вещи и снова пересела к Светлячкам.

Больше всего из первого класса я запомнила, как там было неудобно: вечно надо было оставлять на тесной лавочке место для ангела-хранителя, таскаться туда-сюда по кабинету от Темненьких к Светлячкам и обратно.

В тот раз я закрепилась в Светлячках надолго, потому что наконец научилась различать числа. И оставалась там до тех пор, пока не сломала очки. Я сняла их в уборной, чтобы почистить, и они выпали у меня из рук. Делать это запрещалось, так что я очень стыдилась своего поступка. Очки мои были из глазной клиники медицинского центра, и их изготовили бы только за три дня. Мы не могли себе позволить покупать больше одной пары за раз, да родителям моим и в голову не приходило, что может понадобиться нечто столь экстравагантное. Без очков я оказалась почти незрячей, и это стало наказанием за поломку: ходить в школу пришлось всё равно, хотя я ничего не видела. Сёстры привели меня в класс с запиской от матери о том, что я сломала очки, хотя они и были при мне и болтались на резинке.

Мне не разрешалось снимать очки, разве только перед сном, но меня постоянно раздирало любопытство по поводу этих волшебных стеклянных кружочков, которые быстро становились частью меня, изменяли мою вселенную и при

этом оставались отделимыми. Я вечно пыталась изучить их своими невооруженными, близорукими глазами и то и дело роняла в процессе.

Так как я ничего не различала на доске и не могла списывать с нее работу, сестра Мэри НП посадила меня в дальнем конце класса около окна и нацепила на мою голову колпак дурака. Остальных учеников она подрядила произнести молитву о моей матери, чья непослушная дочь сломала очки и обрекла своих родителей на обременительные расходы из-за новой пары. Также она призвала их к особой молитве, которая помогла бы мне перестать быть таким жестокосердным ребенком.

Я же развлекалась: считала цветные радуги, что нимбом плясали на столе сестры Мэри НП, и наблюдала за звездными всполохами, в которые превращалась лампа накаливания, когда я смотрела на нее без очков. Я скучала по ним, а не по способности видеть. Ни разу не задумывалась о тех днях, когда верила, что лампы – это звездные всполохи, потому что таким для меня выглядел любой свет.

Должно быть, дело шло к лету. Помню, как сидела в колпаке дурака, солнце через окно заливало кабинет, спине было жарко, класс тянул и тянул прилежно молитвы за спасение моей души, а я играла в тайные игры с искаженными цветными радугами, пока Сестра не заметила и не запретила мне мигать так часто.

Как я стала поэтессой

«Куда бы птица без лап ни летела, она находила деревья без ветвей».

Когда самые мощные слова, на которые я только способна, вылетают из меня и звучат, будто воспоминания о тех, что исходили из материнского рта, мне остается либо переоценивать значение всего, что я говорю теперь, либо заново измерить ценность тех ее старых слов.

У моей матери были особые, тайные отношения со словами, которые принимались за должное, за язык, потому что всегда были с ней. Я не разговаривала до четырех лет. В мои три года чарующий мир странных огоньков и манящих форм, в котором я прежде обитала, рассеялся под натиском обыденности и сквозь очки мне открылась иная природа вещей. С ними всё стало менее красочным и сбивающим с толку, но при этом гораздо более комфортным, чем то, что было естественно для моих близоруких, по-разному сфокусированных глаз.

Я помню, как плелась за мамой по Ленокс-авеню, чтобы забрать Филлис и Хелен на обед из школы. Была поздняя весна, потому что ноги мои ощущались настоящими, легкими, не отягощенными громоздкими непромокаемыми штанами. Я отстала у забора на детской площадке, где рос одинокий хилый платан. Увлеченная, я уставилась вверх: каж-

дый отдельный зеленый лист в своей особенной форме представлял внезапным откровением в кружеве ясного света. До очков я знала деревья лишь как высокие коричневые столбы, которые заканчивались пухлыми завитками тускловатой зелени, как деревья в сестринских книжках с картинками, откуда я черпала знания о визуальном мире.

Но изо рта матери каскадом извергался поток комментариев, когда она чувствовала себя легко или на своем месте, в окружении авантюрных нагромождений и сюрреалистических сюжетов.

Мы никогда не одевались слишком легко, а лишь только в *ближайшее к ничего*. Ближе к шее нет чего? Непреодолимые и невозможные дистанции измерялись расстоянием «от Борова⁴ до Дай-им-Дженни⁵». *Боров? Дай-им-Дженни?* Кто знал, пока я не выросла разумной и не стала поэтессой с полным ртом звезд, что это два маленьких рифа в Гренадинах, между Гренадой и Карриаку.

Эвфемизмы для названий частей тела были столь же загадочными, хотя не менее красочными. Легкое замечание сопровождалось не шлепком по попе, а *шмяком по задам* или *бамси*. Сидели все на своих *бам-бам*, но что угодно между тазобедренной костью и верхом бедер относилось к *низовью*, что мне всегда казалось французским термином, типа «Не

⁴ Остров Хог в составе государства Гренада. Ног (*англ.*) – боров.

⁵ Кик-эм-Дженни – действующий подводный вулкан в Карибском море в восьмидесяти километрах к северу от побережья острова Гренада. Kick (*англ.*) – дать пинка.

забудь подмыть свое *nis-sauvier* перед сном». Для более клинических и точных описаний всегда употреблялось *между ног* — шепотом.

Чувственная часть жизни всегда была скрыта за завесой тайны, но обозначалась кодовыми фразами. Почему-то все кузены знали, что дядя Сайрил не может поднимать тяжелое из-за своего *бам-бам-ку*, и приглушенный голос в разговоре о грыже намекал на то, что речь идет о делах *там внизу*. А в те редкие, но волшебные моменты, когда мать выполняла свое аппетитное наложение рук, чтобы размять спазм в шее или потянутую мышцу, она не массировала позвоночник, а *поднимала твоё зандали*.

Я никогда не простужалась — только *ко-хум, ко-хум*, и тогда всё становилось *кро-бо-со*, шиворот-навыворот или слегка набекрень.

Я — отражение секретной поэзии моей матери, точно так же, как и её потаенной злости.

Сижу меж раскинутыми ногами матери, её мощные колени удерживают мои плечи, будто туго натянутый барабан, а моя голова у неё в руках, и она расчесывает, и начесывает, и маслит, и заплетает. Я чувствую сильные, грубые руки матери в своих непокорных волосах, пока ерзаю на низкой табуретке или на сложенном на полу полотенце, мои мятежные плечи сгорблены и дергаются от беспощадного острозубого гребня. Когда каждая порция пружинок расчесана и заплетена, мать нежно её похлопывает и переходит к следующей.

Я слышу, как встречают увещевания вполголоса, которые пунктиром проходили по каждому разговору, который бывал у них с отцом.

«Держи спину прямо, давай! *Дини*, спокойно! Голову вот так!» Штрык, штрык. «Когда последний раз волос мыла? Смотри: перхоть!» Штрык, штрык, правда гребня, от которой сводит зубы. Да, по таким моментам я скучала горше всего, когда начались наши настоящие войны.

Я помню теплый материнский запах, который таился у нее меж ног, и интимность наших физических прикосновений, затаенных внутри тревоги/боли, как мускатный орех, упрямый в скорлупе.

Радио, чесучий гребень, запах вазелина, хватка ее коленей, и мой болезненный скальп, всё в одно: *ритмы литании, ритуалы Черных женищин, расчесывающих волосы своим дочерям.*

Утро субботы. Единственное на неделе утро, когда мать не срывается из кровати, чтобы подготовить меня и сестер к школе или в церковь. Я просыпаюсь на раскладушке в их спальне, зная, что это один из счастливых дней, когда она еще в кровати и одна. Отец на кухне. Звон кастрюль и слабый душок жарящегося бекона смешиваются с запахом кофе «Бокар» из перколятора.

Стук ее обручального кольца о деревянную спинку кровати. Она не спит. Я встаю, иду к матери и заползаю к ней в кровать. Ее улыбка. Ее глицериново-фланелевый запах. Теп-

ло. Она опирается на спину и бок, одна рука вытянута, другая поперек лба. Обернутая фланелью грелка с теплой водой – температуры тела, чтобы ночью умерять боль в желчном пузыре. Крупные, мягкие груди под фланелью ночнушки на пуговках. Ниже – округлость ее живота, тихое и манящее прикосновение.

Я ползаю рядом, играю с закутанной во фланель теплой резиновой грелкой, колочу ее, подбрасываю, толкаю по округлости материнского живота на теплую простыню меж сгибом ее локтя и кривой ее талии ниже грудей, что раскинулись по бокам под клетчатой тканью. Под одеялом утро пахнет мягко, и солнечно, и многообещающе.

Я резвлюсь с полной воды грелкой, хлопаю и тру ее упругую, но податливую мягкость. Медленно ее потряхиваю, качаю туда-сюда, потерянная во внезапной нежности, при этом легонько трусь о тихое тело матери. Теплые молочные запахи утра окружают нас.

Ощущать глубокую упругость ее грудей своими плечами, спиной пижамы, иногда, более смело, – ушами и краями щек. Вертеться, валяться под мягкое журчание воды внутри резиновой оболочки. Иногда под легкий удар ее кольца о спинку кровати, когда она двигает рукой над моей головой. Ее рука опускается на меня, на минутку прижимает к себе, потом утихомиривает мою прыготню.

– Ну ладно.

Я упиваюсь ее сладостью, притворяюсь, что не слышу.

– Ну ладно, говорю, прекращай. Время подыматься. Приходи в себя и не разлей воду.

И не успею я ничего сказать, как она уже уносит себя мощным нарочитым броском. Пояс от ее халата из синельки – как хлыст на фланелевой пижаме, и кровать уже стынет рядом со мной.

Куда бы птица без лап ни летела, она находила деревья без ветвей.

В свои четыре – пять я бы отдала всё на свете, кроме матери, чтобы иметь подружку или младшую сестренку. Я бы с ней разговаривала и играла, нам было бы примерно одинаково лет, я бы не боялась ее, а она – меня. Мы бы делились друг с другом секретами.

При двух родных сестрах я росла, ощущая себя единственным ребенком, так как они были друг к другу ближе по возрасту и старше меня. Вообще я жила себе одиночкой планеткой или удаленным мирком на враждебном, или, по крайней мере, недружелюбном небосклоне. Тот факт, что в годы Великой депрессии я была одета, обихожена и накормлена лучше многих других детей в Гарлеме, в детском сознании отмечался нечасто. Большая часть моих тогдашних фантазий вертелась вокруг того, как бы заполучить маленького человека женского пола себе в компаньонки. Я концентрировалась на магических способах, довольно быстро поняв, что семья не особо собирается удовлетворить это желание. Семья Лорд разрастаться не планировала.

Так или иначе, идея деторождения была довольно страшной, полной тайных откровений, в сторону которых темно косились, – как делали мать и тетки, когда проходили по улице мимо женщин в больших, распираемых спереди блузах, очень меня интриговавших. Какую великую ошибку совер-

шили эти женщины, думала я, что носили эту блузу как метку, очевидную, как колпак дурака, который мне иногда приходилось надевать в школе.

Удочерение тоже не обсуждалось. У лавочника можно было добыть котенка, но не сестру. Как океанские круизы, школы-пансионы и верхняя полка в поезде, это было не для нас. Богачи вроде мистера Рочестера в кинокартине «Джейн Эйр», скучавшие в своих имениях среди рощ, усыновляли детей, а мы – нет.

Быть самой младшей в вест-индской семье означало много привилегий, но не прав. И так как мама была решительно настроена не «избаловать» меня, даже эти привилегии были лишь иллюзией. Оттого я знала, что если бы в нашей семье появился добровольно еще один маленький человек, то он скорее оказался бы мальчиком и скорее принадлежал бы матери, а не мне.

Тем не менее я действительно верила в свои магические затеи и считала, что если проделывать всё достаточно часто и должным образом повторять в правильных местах, без огрехов и от чистой души, то маленькая сестра точно появится. Причем «маленькая» как она есть. Я часто представляла, как мы с сестричкой ведем увлекательные беседы, пока она сидит у меня на ладони, как в чашке. Сидит себе, свернувшись, надежно укрытая от любопытных глаз мира в целом и моей семьи в частности.

В три с половиной мне прописали первые очки, и я пере-

стала запинаться на ходу. Но всё равно продолжала шагать с опущенной головой и считала линии между квадратиками на тротуаре каждой улицы, где оказывалась, держась за руку матери или одной из сестер. Я решила: если за день смогу наступить на все горизонтальные линии, то мечта воплотится, мой маленький человечек появится и по возвращении домой будет ждать меня в кровати. Но я вечно путалась, пропускала линии, или кто-то дергал меня за руку в самый решительный момент. Маленькой сестрички всё не было.

Иногда зимой по субботам мать замешивала для нас троих простое тесто для лепки из муки, воды и соли «Даймонд Кристал». Из своей части я всегда мастерила крошечные фигурки. Выпрашивала у матери или брала сама немного ванильного экстракта с ее полки с восхитительными специями, травами и вытяжками и смешивала его с тестом. Иногда я чуточку смазывала у фигурок за ушами, со стороны затылка, как это делала мама с глицерином и розовой водой, одеваясь на выход.

Мне нравилось, как терпкая темно-коричневая ваниль ароматизирует мучнистое тесто; она напоминала о материнских руках, когда та делала арахисовый грильяж и гоголь-моголь по праздникам. Но больше всего я любила живой цвет, который ваниль придавала белой, нездорово бледной массе.

Я точно знала, что настоящие живые люди бывают разных оттенков – бежевого, коричневого, кремового и смугло-красного, а вот живых людей такого избледна-белесого цвета му-

ки, соли и воды не существовало, даже если их называли белыми. Если я хотела сделать своего маленького человечка настоящим, требовалась ваниль. Но цвет тоже не помогал. Неважно, сколько замысловатых ритуалов и заклинаний я повторяла, неважно, сколько раз твердила «Аве Мария» и «Отче наш», неважно, что сулила богу взамен, – тесто с ванильным оттенком морщилось и затвердевало, постепенно становилось ломким, прокисало, а потом и вовсе превращалось в зернистую мучную пыль. Как бы истово я ни молилась, что бы ни замышляла – фигурки никогда не оживали. Они никогда не вертелись на моей ладонке, словно в чашке, не улыбались мне, не говорили: «Привет».

Я встретила свою первую подружку, когда мне было около четырех лет. Это длилось минут десять.

Был полдень, самый разгар зимы. Мать упаковала меня в толстый шерстяной комбинезон, шапку и объемный шарф. Как только ей удалось втиснуть меня в эту арктическую экипировку, натянуть на ботинки резиновые галоши и обмотать всё сверху еще одним толстым шарфом – чтобы содержимое не рассыпалось, – она выставила меня на крыльцо нашего многоквартирного дома и пошла наспех одеться. Хотя мать старалась не выпускать меня из поля зрения ни на секунду, она поступила так, чтобы я потом не померла, если, перегревшись, выйду на улицу и неминуемо простужусь.

После череды суровых наставлений о том, что я не должна

двигаться с места, жутких описаний того, что со мной случится, если послушаюсь, и приказов кричать, если со мной заговорят незнакомцы, мать исчезла в нашей квартире – всего в нескольких метрах от двери, чтобы схватить пальто и шляпку, а еще проверить все окна и убедиться, что они закрыты.

Я любила эти редкие минуты свободы и тайком их лелеяла. Единственное время, когда я могла побыть на улице и при этом мать не тащила меня за собой так, что мои коротенькие толстые ножки никогда не поспевали за ее деловитым шагом. Я тихо села там, куда она меня только что поставила, – на сланцевую панель поверх каменных перил крыльца. Мои руки едва торчали из многослойной одежды, ноги отяжелели и потеряли сноровку из-за громоздких ботинок и галош, а шея, окутанная шерстяной шапкой и обмотанная шарфом, не двигалась вовсе.

Солнце ложилось с зимней молочностью на тротуар через дорогу от меня, и на грязный, цвета гари, снег, что покрывал мостовую у кромки водостока. Я могла обозревать округу аж до угла Ленокс-авеню, в трех домах от меня. На углу, где начинались дома, человек, известный как Отец Небесный, заправлял своим предприятием по починке ботинок под названием «Мир тебе, брат» в ветхом киоске, что отапливался небольшой круглой плиткой. Из крыши киоска уходила ввысь тоненькая струйка дыма. Дым был единственным признаком жизни – ни одного человека на всю округу. Я размеч-

талась: вот бы на улице было тепло, красиво и полно народу, и мы бы на обед ели дыню, а не горячий гороховый суп, что булькает на плите, дожидаясь нашего возвращения.

Перед тем, как пришлось идти одеваться на прогулку, я почти закончила делать кораблик из газеты и теперь думала: дождутся ли меня ее кусочки на кухонном столе или мать уже сгребет их в мешок для мусора? Смогу ли я их спасти перед обедом или они смешаются с гадкими мокрыми корками апельсинов и кофейной гущей?

Вдруг я заметила, что на ступеньке перед главным входом стоит маленькое существо с яркими глазами и широкой улыбкой и смотрит на меня. Маленькая девочка. Она сразу показалась мне самой красивой маленькой девочкой, какую я только видела в своей жизни.

Моя вечная мечта об ожившей куколке-деточке воплотилась! Вот же она, передо мной: улыбается, хорошенькая, в невообразимом бархатном пальто цвета красного вина с широким-широким подолом, который клешится над аккуратными маленькими ножками, обтянутыми фильдеперсом. Ножки обуты в пару абсолютно непрактичных черных лакированных туфелек, а серебряные пряжки на их ремешках весело сияют в унылом полуденном свете.

Ее рыжевато-каштановые волосы не были заплетены в четыре косички, как мои, а обрамляли небольшое, с острым подбородком, лицо плотными кудряшками. Шедший к пальто бархатный берет того же винного цвета венчался большим

помпоном из белого меха.

Даже несмотря на то, что от той моды нас отделяют десятилетия и время притупило все, ее наряд остается самым красивым, что я видела за свои уже вовсе не пять лет разглядывания одежды.

Ее медово-коричневая кожа сияла румянцем, который перекликался с оттенком ее волос, и глаза тоже забавным образом попадали в тон, что напомнило мне о глазах матери, о том, как они, будучи такими светлыми, вспыхивали, будто на солнце.

Я понятия не имела, сколько девочке лет.

«Как тебя зовут? Меня Тони».

Имя напомнило мне о книжке с картинками, которую я только что закончила, и сразу навело на ассоциацию: *мальчик*. Но лакомое существо передо мной без сомнения было девочкой, и я хотела, чтобы она стала моей – кем именно, я не знала, – но только моей собственной. Я уже представляла, где буду ее хранить. Может, смогу заткнуть ее в складки под подушкой, гладить по ночам – все спят, а я отгоняю кошмар, в котором на мне катается дьявол. Конечно, придется быть очень осторожной, чтобы ее не раздавило раскладушкой, когда утром мать убирает мою постель, накидывает сверху старое покрывало с набивным цветочным узором и аккуратно ставит в углу за дверью спальни. Нет, это точно не сработает. Мать почти наверняка найдет ее, когда примется, как обычно, взбивать мои подушки.

Пока я пыталась придумать безопасное место для хранения девочки, а перед глазами у меня яростно мельтешили картинки, Тони двинулась ко мне и теперь уже стояла перед моими растопыренными комбинезоном ногами, темно-яркие залитые огнем глаза – на уровне моих. Шерстяные варежки у меня болтались на свисавших из рукавов резинках, и я голыми руками потянулась и погладила мягкие бархатные плечи ее пальто: вверх – и вниз.

На шее у нее висела пушистая муфта из белого меха, влад меховому шарiku на берете. Я коснулась и муфты, а потом подняла руку, чтобы пощупать помпон. Мягкое, шелковистое тепло меха вызвало покалывание в кончиках пальцев, какого не бывало даже от холода, и я тормозила и трогала его, пока Тони наконец не стряхнула мою руку со своей головы.

Я потыкала в небольшие золотые пуговицы на ее пальто. Расстегнула верхние две, чтобы застегнуть их обратно, будто я ее мама.

– Ты замерзла?

Ее розово-бежевые уши всё больше краснели от холода. В каждой изящной мочке висело небольшое золотое колечко.

– Нет, – сказала она, придвинувшись ближе к моим ногам. – Давай играть.

Я сунула обе руки в отверстия ее муфты, и она захохотала от удовольствия, как только мои пальцы, холодные, обернулись вокруг ее – теплых – в стеганой тьме подкладки. Одна

ее рука прошмыгнула мимо моей, и ладонь распахнулась у меня перед носом. Там лежали два мятных леденца, липкие от ее тепла.

– Хочешь?

Я вытащила руку из муфты и, не сводя глаз с ее лица, вынула полосатую круглую конфетку себе в рот. Он у меня пересох. Я закрыла его и стала посасывать конфетку, чувствуя, как мятный сок стекает в горло, жгучий, сладкий, почти грубый. На протяжении долгих лет я всегда думала о мятных леденцах как о конфетках из муфты Тони.

Она устала ждать.

– Поиграй со мной, пожалуйста?

Тони отошла назад, улыбаясь, и я внезапно перепугалась, что сейчас она пропадет или убежит, а с ней со 142-й улицы исчезнет и солнце. Мать предупреждала, чтобы я не уходила с того места, куда она меня поставила. Но какие могли быть сомнения: потеря Тони стала бы невыносимой.

Я подалась к ней и легонько притянула к себе, усадив поперек своих коленей. На ощупь сквозь ткань моего комбинезона она казалась такой легкой, что я решила: вот ее унесет ветром, а я и не почувствую, тут она или уже нет.

Обхватив руками ее мягкое красное бархатное пальто и сомкнув пальцы, я стала качать ее взад-вперед, как делала это с большой куклой Кока-Кола моих сестер, у которой открывались и закрывались глаза и которую снимали с полки каждый год перед Рождеством. Наша старая кошка,

Минни-Попрошайка, весила почти столько же, сколько Тони, усевшаяся ко мне на колени.

Она обратила ко мне лицо и снова залилась довольным смехом, звеневшим, будто кубики льда в вечернем напитке отца. Я чувствовала, как ее теплота проникает ко мне, распространяется по всей передней части моего тела, сквозь слои одежды, и, едва она повернулась, чтобы заговорить со мной, из-за влажного тепла ее дыхания мои очки слегка запотели на морозном зимнем воздухе.

Я начала потеть внутри комбинезона, как происходило всегда, несмотря на холод. Я хотела снять с нее пальто и посмотреть, что надето под ним. Хотела снять с нее всю одежду и трогать ее живое маленькое коричневое тельце, чтобы убедиться, что она настоящая. Сердце мое рвалось на куски от любви и радости, для которых нельзя было подобрать слов. Я снова расстегнула верхние пуговицы ее пальто.

– Нет, не надо! Бабушке это не понравится. Можешь меня еще покачать? – Она опять вжалась в мои объятия.

Я снова обхватила руками ее плечи. Действительно ли она маленькая девочка или просто ожившая кукла? Есть только один способ узнать наверняка. Я повернула ее и положила себе на колени. Свет вокруг нас на крыльце изменился. Я взглянула на вход в здание, опасаясь, что там может стоять мать.

Я отвернула низ винно-красного бархатного пальто Тони и многочисленные складки ее пышного платья из зеленого

шиться под ним. Затем стала поднимать нижние юбки, пока не увидела белые хлопковые панталоны, каждая штанина которых заканчивалась вышитой оборочкой прямо над эластичными подвязками, на которых держались чулки.

По моей груди стекали капельки пота – их ловил тугой пояс комбинезона. Обычно я терпеть не могла потеть под верхней одеждой, потому что казалось, будто по мне спереди бегают тараканы.

Тони снова засмеялась и сказала что-то, но я не расслышала. Она поелозила у меня на коленках, устраиваясь поудобнее, и искоса повернула ко мне милое личико.

– Бабушка забыла мои рейтузы дома.

Я засунула руку в гущу ее платья с подъюбниками и ухватилась за резинку трусиков. Окажется ли ее попа настоящей и теплой – или из твердой резины, с формованной ложбинкой, как у дурацкой куклы Кока-Кола?

Руки у меня дрожали от восторга. Я на секунду замешкалась. И когда наконец собралась стянуть с Тони трусики, услышала, как входная дверь открылась и из дома на крыльцо вышла мать, поправляя поля своей шляпки.

Меня застигли врасплох посреди постыдного, жуткого деяния, от которого не спрячешься. Застыв, я сидела без движения, а Тони, взглянув на мою мать, как ни в чём не бывало слезла с моих коленей и оправила юбки.

Мать нависла над нами обеими. Я поморщилась, ожидая незамедлительного возмездия от ее умелых рук. Но чудо-

вищность моих намерений от матери ускользнула. А может, ей просто было всё равно, что я хотела узурпировать чужое секретное местечко, которое обычно достаётся только шлепающим по нему мамашам да медсестрам с термометрами.

Взявшись за мой локоть, мать неуклюже подняла меня на ноги.

С минуту я стояла, будто обернутый шерстью снеговик: руки торчат в стороны, ноги разъехались. Не обращая на Тони внимания, мать начала спускаться по ступеням.

– Поторопись, – сказала она, – нельзя опаздывать.

Я обернулась. Яркоголазое видение в винно-красном пальто стояло всё там же, наверху крыльца, достав одну руку из муфты.

– Хочешь вторую конфетку? – спросила она. Я суетливо замотала головой. Нам нельзя было брать конфеты ни от кого, тем более от чужих.

Мать всё тащила меня по лестнице.

– Смотри, куда ступаешь.

– Можешь прийти поиграть завтра? – спросила Тони.

Завтра. Завтра. Завтра. Мать уже опустилась ниже, и её твердая рука на моем локте не дала мне упасть, когда я шагнула мимо ступеньки. Быть может, завтра...

Когда мы уже оказались на тротуаре, мать, продолжая держать меня за руку, устремилась вперед, будто вплавь. Мои неуклюже обернутые и обутые в галоши коротенькие ножки топали за ней, едва поспевая. Даже когда спешить бы-

ло некуда, мать ходила быстрым, целеустремленным шагом, чуть развернув стопы наружу, как настоящая леди.

— Не мешкай, — сказала она. — Уже почти полдень, знаешь ли.

Завтра, завтра, завтра.

— Что за стыдоба, такую кроху, да в такую погоду, выпускать без комбинезона да без рейтуз. Вот так вы, детвора, и простужаетесь до смерти.

Выходит, она мне не привиделась. Мать тоже видела Тони. (Что это вообще за имя такое для девочки?) Может, завтра?

— А можно мне такое пальто, как у нее, мамуля?

Мать посмотрела на меня сверху вниз, пока мы ждали сигнала светофора.

— Сколько раз я тебе говорила: не называй меня на улице мамулей!

Светофор загорелся, и мы устремились вперед.

Я тщательно обдумала свой вопрос, пытаюсь за ней угнаться, и хотела, чтобы в этот раз он вышел безупречным. Наконец сформулировала.

— Купи мне красное пальто, будь добра, мамочка? — я не могла оторвать глаз от предательской земли, чтобы не спотыкаться в своих галошах, и слова, наверное, заглохли или затерялись в шарфе вокруг шеи. Так или иначе мать продолжала идти в тишине, будто не слышала ничего. Завтра, завтра, завтра, завтра.

Дома мы поели горохового супа и быстро повели сестер

обратно в школу. Но в тот день мы с матерью не вернулись домой напрямую. Перейдя на другую сторону Ленокс-авеню, мы сели на четвертый автобус до 125-й улицы, где купили в магазине Вайсбекера курицу на выходные.

Сердце мое тонуло в безнадежности, пока я ждала, топая на стружке, которой был усеян пол в магазине. Ну конечно, всё впустую. Я слишком хотела, чтобы она оказалась настоящей. Я слишком хотела увидеть ее вновь, чтобы это могло когда-нибудь произойти.

В магазине было чересчур тепло. Потная кожа зудела там, где почесаться я не могла. Раз мы отправились за покупками сегодня, значит, завтра суббота. Сестры в субботу не ходят в школу, значит, не надо будет забирать их на обед, и, значит, я проведу весь день дома, потому что матери надо убирать и готовить, а нам никогда не разрешают играть на крыльце в одиночку.

Выходные были вечностью, за которую я не могла заглянуть.

В следующий понедельник я снова ждала на крыльце. Всё так же закутанная, толклась там в одиночестве, но, кроме матери, никто не пришел.

Я не знаю, как долго я искала Тони, сидя на крыльце в полдень почти каждый день. Со временем ее облик ушел в тот уголок сознания, где создаются мои сны.

И поныне вся сущность уныния и печали, словно в вечно живом натюрморте Пикассо, заключена для меня во въевшемся в память жалком зрелище: кто-то выкинул шелковый чулок, он зацепился за кирпичи и висел на стене многоквартирного дома, где его трепали дождь и ветер. Болтался он прямо напротив нашего кухонного окна, из которого я, собственно, и вывешивалась в тот момент, держась одной рукой и крича на старшую сестру, – та осталась за главную, пока мать ходила за покупками.

Что там случилось между нами до того, неизвестно, но мать вернулась как раз вовремя, чтобы втянуть меня назад во мрак кухни и спасти от падения в вентиляционную шахту с высоты этажа. Я не помню ужаса и ярости, но помню порку, доставшуюся и мне, и сестре. Более того, я помню грусть, чувство утраты и одиночество того выброшенного, порванного, зацепившегося за кирпичи шелкового чулка – испорченного, висящего на стене под многоквартирным дождем.

Я всегда очень завидовала своим старшим сестрам – и из-за возрастных привилегий, и потому что они были подружками. Они могли разговаривать друг с другом без порицания и наказания, по крайней мере, так мне казалось.

Я была уверена, что Филлис и Хелен ведут волшебную, зачарованную жизнь в своей комнате в конце коридора. Она

была крошечной, но полностью обустроенной, уединенной, там можно было укрыться от постоянного надзора родителей, бывшего моей вечной участью, так как я играла лишь в общей части дома. Я никогда не оставалась одна, вдали от бдительного присмотра матери. Дверь ванной была единственной, которую мне позволялось за собой закрывать, и то – стоило мне чуть задержаться, как ее могли с вопросом распахнуть.

Тот раз, когда мне впервые удалось переночевать где-то кроме родительской спальни, стал вехой в моем извечном поиске дома для себя. Когда мне было четыре и пять, мы с семьей два лета подряд отправлялись на неделю на побережье Коннектикута. Это было шикарнее поездки на день на пляж Рокавей или на Кони-Айленд – и куда увлекательнее.

Прежде всего, мы спали не в своем доме, и папочка был с нами даже днем. Можно было отведать всякой незнакомой новой еды вроде голубых крабов с мягким панцирем, которых отец заказывал на обед и иногда даже уговаривал мать, чтобы и мы попробовали. Нам, детям, не позволялось есть такие незнакомые яства, но по пятницам мы могли угоститься жареными во фритюре креветками и крокетами с кусочками мидий. Они были вкусными и совсем не похожими на мамины рыбные котлетки из трески и картофеля – наш любимый пятничный ужин дома.

Каждый пляж в моем воображении покрыт мерцающими отблесками. Каждое лето детства лоснится, сияет, как тол-

стые стекла очков, которые я не могла носить из-за расширяющих зрачки глазных капель.

Их закапывали мне в глаза окулисты медицинского центра, чтобы посмотреть, как развивается зрение, и так как эффект длился, казалось, целыми неделями, мои воспоминания о каждом начале лета – как я постоянно шурюсь, чтобы избежать агонии, которую вызывают прямые солнечные лучи. И как спотыкаюсь о вещи, которых не могу разглядеть из-за слепящего света.

Панцири крабов я отличала в песке от раковин моллюсков не по виду, а ощупывая их коричневыми пальчиками ног. Хрупкие панцири комкались под пятками, как наждачка, а тверденькие раковины громко и упруго хрустели под подушечками моих толстеньких ступней.

Старая лодка, брошенная на боку и застрявшая на мели, лежала на песке пляжа у линии прибоя, неподалеку от отеля, и мать в легком хлопковом платье сидела там дни напролет. Благонравно скрестив щиколотки и сложив на груди руки, она следила, как мы с сестрами играем у кромки воды. Когда она смотрела на океан, взгляд ее становился мягким и умиротворенным, и я знала, что она думает о «доме».

Однажды папочка схватил меня и понес в воду, и я, оказавшись на такой высоте, завизжала от страха и восторга. Помню, он швырнул меня в океан, держа за руки, и потом поднял, а я кричала уже от негодования, потому что соленая вода обожгла ноздри, и от этого захотелось драться или пла-

кать.

В первый наш год там я спала на раскладушке в комнате родителей, как обычно, и укладывалась всегда быстрее остальных. Как и дома, водянистые краски сумерек подкрадывались ко мне и пугали, они зеленели и высверкивали через желтовато-коричневые оконные шторы над моей кроватью, походившие на закрытые веки. Я ненавидела этот сумеречный цвет и ложилась рано, вдали от убаюкивающих голосов родителей, которые оставались внизу, на крыльце отеля, что принадлежал товарищу отца по работе с недвижимостью – тот давал нам за недельную аренду хорошую скидку.

Для меня зелено-желтые сумерки – цвет одиночества, он меня никогда не покидает. Всё остальное об этой первой неделе летних каникул в Коннектикуте уже забылось, кроме разве что двух фотографий, где я, как обычно, недовольна и щурюсь на солнце.

На второй год мы стали беднее, или, может, отцовский приятель поднял цены. Так или иначе, мы впятером жили в одной спальне, и для дополнительной раскладушки места уже не хватало. В комнате было три окна, стояли две двуспальные кровати под шенилевыми покрывалами, слегка продавленные посередине. Мы с сестрами делили одну из них.

Меня всё равно отправляли спать раньше сестер, которым разрешали посидеть и послушать «Я люблю детективы» по радиоприемнику в деревянном корпусе, что стоял в го-

стиной внизу, около окна, глядящего на крыльцо. Его тихое бормотанье доносилось с крыльца до обитых кретоном кресел-качалок, что стояли рядом в мягко-соленой, прибрежно-курортной ночи нашего переулка.

В тот год сумерки уже не пугали меня так сильно. Мы занимали заднюю комнату, темнело раньше, так что, когда я ложилась, уже вовсю была ночь. Когда сумеречный зеленый меня не терроризировал, засыпать было несложно.

Мать следила, чтобы я почистила зубы и помолилась, а потом, убедившись, что всё в порядке, целовала меня на ночь и выключала тусклую лампочку без абажура.

Дверь закрывалась. Я лежала без сна, замерев в предвкушении, и ждала, пока закончится «Я люблю детективы» и сестры придут и заберутся в постель. Я торговалась с богом, чтобы он помог мне бодрствовать. Кусала губы, вонзала ногти в подушечки на ладонях, чтобы только не уснуть.

Через тридцать минут – или целую вечность, за которую я успевала перебрать в голове все события минувшего дня, включая то, что должна и не должна была делать и что сделала или нет, – я наконец слышала топот сестер по коридору. Дверь в нашу комнату открывалась, и они входили во тьму.

– Эй, Одри. Не спишь? – это Хелен, на четыре года старше меня и ближе ко мне по возрасту.

Я разрывалась от нерешительности. Как быть? Если не отвечаю, она может начать щекотать мне пальцы на ногах, а если ответить – то что сказать?

– Ну что, спишь?

– Нет, – шептала я скрипучим голосом, который казался подходящим для сна.

– Ну ясное дело: видишь – не спит, – доносился полный отвращения шепот Хелен, после чего она громко вздыхала и цыкала. – Смотри, у нее глаза открыты!

С другой от меня стороны раздавался скрип кровати.

– Что ты всё не спишь? Зыришь, глаза пузыришь? По дороге сюда я попросила бабайку откусить тебе голову, и вот он уже скоро придет и покажет тебе!

Я чувствовала, как уже по обе стороны от меня кровать подается под их весом. Мать велела мне спать посередине, чтобы не свалиться с края, ну и сестер изолировать друг от друга. Я была так заворожена идеей делить с ними постель, что и не возражала. Хелен потянулась ко мне и тихонько ущипнула.

– Ой! – я потерла плечо, которое саднило от ее цепких, натренированных клавишами пианино пальцев. – Вот расскажу мамочке, как ты меня щиплешь, и тебе точно будет порка! – И тут я победоносно выдала свой козырь: – И, конечно же, расскажу ей, чем вы там друг с дружкой занимаетесь!

– Давай, дурында, мели языком. Так им будешь молоть, что у тебя рот отвалится и сожрет твои пальцы на ногах! – Хелен снова цыкнула, но убрала руку.

– Ой, да ложись уже, Одри, спи давай, – это Филлис, моя старшая сестра, миротворица, тихая, разумная, замкнутая.

Но я прекрасно знала, ради чего надо было вонзать ногти в ладони и не давать себе спать, и ждала, едва сдерживаясь.

Потому что именно тем летом, в душной задней комнате курортной хибары, я наконец узнала, что мои сестры делали по ночам — дома, в той своей комнатке в конце коридора, в манящей комнатке, куда мне не разрешалось ходить без приглашения, которого никогда не поступало.

Они рассказывали друг другу истории. Истории эти состояли из множества частей, сочиняемых по ходу дела и вдохновленных приключенческими радиошоу, к которым мы все пристрастились в те годы.

Среди этих программ были «Бак Роджерс», «Я люблю детективы», «Американский парнишка Джек Армстронг», «Зеленый Шершень» и «Пожалуйста, тише». А еще «ФБР в войне и мире», «Мистер окружной прокурор», «Одинокий Рейнджер» и «Тень», самая моя любимая, про героя с суперсилой запудривать всем мозги так, что его переставали видеть, — мечтать о такой сверхспособности я перестала только недавно.

Возможность рассказывать истории и не быть выпоротой за обман казалась мне самой потрясающей вещью на свете, и каждую ночь на той неделе я молилась, чтобы мне позволили слушать, не понимая, что они и не смогут мне это запретить. Филлис было без разницы, лишь бы я не наябедничала матери, а Хелен к концу дня изрядно уставала от надоедливой младшей сестренки с бесконечным потоком вопросов. И ее

истории были самыми лучшими, сплошь про крутых маленьких девчонок, что одевались в мальчишечью одежду, вечно дурили преступников и спасали положение. Героем Филлис же был молчаливый, но милый и сильный мальчик по имени Джордж Вагиниус.

– Филлис, ну пожалуйста, – заныла я.

Последовало молчание, потом Хелен мрачно цыкнула, и наконец Филлис согласилась и зашептала в ответ:

– Ну ладно. Чья сегодня очередь?

– Я ни слова не скажу, пока она не уснет! – Хелен была непреклонна.

– Ну пожалуйста, Филлис, я только послушаю.

– Нет! Так не пойдет! – не соглашалась Хелен. – Я тебя в темноте так хорошо знаю, что и света проливать не надо!

– Ну пожалуйста, Филлис, я даже не пикну, – я чувствовала, как Хелен раздувается рядом со мной как жаба, но настаивала, не понимая, что мои вызывания к авторитету Филлис как старшей сестры только еще больше бесили Хелен.

Филлис была не только мягкосердечной, но и очень практичной, с прагматичным подходом одиннадцатилетней вестиндской женщины.

– Обещаешь, что никому не расскажешь?

Казалось, меня посвящают в самое что ни на есть тайное общество.

– Клянусь! – католическим девочкам нельзя было клясться кем-то, но просто так, беспредметно, можно.

Хелен, впрочем, это не убедило. Она ущипнула меня, на этот раз за бедро, так что я чуть снова не завопила.

– Надоела ты, сил нет. Так: если хоть раз заикнешься о моих историях, Песочный человек тут же за тобой придет и выключет тебе глаза, как у макрели в супе, – Хелен убедительно причмокнула, уступая, но оставляя последнее слово за собой.

Я немедленно вообразила маленькие белые кругляшки глаз, плавающие в пятничной рыбной похлебке, и содрогнулась.

– Обещаю, Хелен, клянусь. Ни слова никому не скажу, буду тихонькой как мышка, вот увидишь, – в темноте я зажала рот руками и затрепетала в ожидании.

На этот раз была очередь Хелен рассказывать первой.

– Так, на чём мы остановились? Ах да. Только мы с Баком вернули небесную лошадь, как Док...

Я не вытерпела – опустила руки и дала волю языку:

– Нет, нет, Хелен, еще рано. Не помнишь, что ли? Док еще туда не добрался, потому что... – я не хотела ничего упустить.

Маленькие коричневые пальцы Хелен двинулись через постельное белье и так ущипнули меня за задницу, что я взвыла от боли. Ее голос стал высоким и наполнился яростью и бессильной злобой.

– Вот видишь? Видишь? Что я тебе говорила, Филлис? – она чуть не выла от злости. – Я так и знала. Она ни секун-

дочки не может свой поганый язык держать за зубами. И я же говорила, правда? Что, скажешь, не так? А тут она еще и мою историю решила прикарманить.

– Ш-ш-ш! Эй, вы! Мамочка сейчас придет и из-за вас нам всем устроит ад!

Но Хелен не хотела так играть. Я почувствовала, как она шлепнулась на бок, обиженно повернувшись ко мне спиной, а потом услышала, как кровать затряслась от злых всхлипов ярости, приглушенных потной подушкой.

Хотелось прибить себя на месте.

– Ну прости, прости, Хелен, – осмелилась произнести я. И не соврала, потому что поняла: мой поганый рот лишил меня сегодняшней порции историй, а может, и вообще всех оставшихся на неделю. К тому же я знала, что на завтра мать меня ни за что не отпустит от себя настолько, чтобы я успела увязаться за сестрами и услышать, как они завершают рассказ на пляже.

– Честное слово, я не хотела, Хелен, – попыталась я в последний раз и потянулась к ней. Но Хелен резко дернулась назад и двинула меня попой в живот. Я услышала разъяренный шепот сквозь стиснутые зубы: – И не смей меня гладить!

Я достаточно времени провела под натиском ее пальцев, чтобы понять, когда стоит сдаваться. Так что и я перевернулась на живот, пожелала Филлис спокойной ночи и наконец уснула.

На следующее утро я проснулась раньше Филлис и Хелен.

Лежа посередине, я старалась не коснуться их обеих. Уставилась в потолок и слушала, как в соседней кровати храпит отец, как материно обручальное кольцо стукнуло о спинку кровати: во сне она прикрыла рукой глаза, чтобы их не тревожил утренний свет. Я наслаждалась тишиной, новыми запахами незнакомого постельного белья и соленого воздуха и прямыми солнечными лучами, что заливали комнату сквозь высокие окна, обещая бесконечный день.

Именно там и тогда, пока никто больше не проснулся, я и решила сама придумать какую-нибудь историю.

Летом в Гарлеме, в самые ранние свои годы, я гуляла посередке между сестрицами, пока они планировали захват вселенных, как в книжках комиксов. Занятые этими комиксами, этой главенствующей и всеохватывающей страстью наших летних дней – вкуче с библиотекой, – мы проходили целые километры вверх по холму. Убежденные, полные решимости, тащились вверх по Шугар-хилл, по 145-й улице от Леннокс до Амстердам-авеню в Вашингтон-хайтс, чтобы там обменять в букинистическом магазине старые выпуски. В довоенные деньки в этом районе, где теперь поселилась моя мать, жили одни белые.

Магазинчиком заправлял толстый белый дядька с водянистыми глазами и животом, что нависал над его поясом, как скверно приготовленное, некрепкое желе. Он отрывал обложки у заваливавшихся комиксов и продавал их за полцены или обменивал на другие лежалые выпуски в хорошем состоянии, один к двум. У него в лавке были целые ряды лотков с жуткими, без обложек, книжками, и, как только сестры отправлялись в ряд со своими любимыми комиксами про Бака Роджерса и Капитана Марвела, я принималась искать картинки с Багзом Банни. Старик тут же затевал таскаться за мной по проходам, дымя своей злодейской сигарой.

Я пыталась рвануть к сестрам, но было поздно. Его масса

заполняла весь проход, хотя мне и без того было ясно: нечего отбиваться от сестриц.

«Давай помогу тебе, милочка, так лучше видно», — и я чувствовала, как его сосисочные пальцы хватают меня за ребра и поднимают сквозь облака сигарного дыма к лоткам, полным комиксов про Багза Банни и Порки Пига. Я хватала первый попавшийся и начинала извиваться, чтобы он оставил меня в покое, в ужасе пытаюсь нащупать пол у себя под ногами и с отвращением чувствуя податливость его мягкого живота у себя на пояснице.

Его гадкие пальцы двигались вверх и вниз по моему тельцу, застрявшему меж напирющей выпуклостью и краем лотка. Когда он ослаблял хватку и давал мне соскользнуть на желанный пол, я чувствовала себя грязной и объятой ужасом, будто бы со мной провели какой-то гадкий ритуал.

Вскоре я усвоила, что его можно избежать, если держаться поближе к сестрам. Когда я выбегала из другого конца ряда, он за мной не шел, но и не добавлял бесплатный комикс «для маленькой милашки», когда сестры наконец оплачивали покупки. Клейкие пальцы и отвратительная хватка стали ценой рваного, лишенного обложки старого комикса о Багзе Банни. На протяжении многих лет мне снились кошмары о том, что я вишу там под потолком и никак не могу спуститься.

Подъем на холм занимал у нас, трех маленьких коричневых девочек, одна из которых даже не умела читать, целый день. Но это была такая летняя экскурсия — приятнее,

чем просто сидеть дома, пока не вернется домой из офиса или магазина мать. Нам никогда не разрешали просто пойти поиграть на улице. Обязательно надо было отправляться на весь день туда, а потом пускаться обратно, через два равнинных квартала до Восьмой авеню, где чинил башмаки Отец Небесный, и затем вверх по холму, квартал за кварталом, наискосок.

Иногда, когда мать объявляла отцу после ужина, что мы на следующий день планируем путешествие, они переключались на патуа, чтобы быстренько всё обсудить. Я пристально вглядывалась в их лица и знала, что они выясняют, есть ли у них несколько лишних центов на экспедицию.

Иногда отец отправлял нас в будку Отца Небесного – заменить полуподошву на ботинках. Это мероприятие заодно включало в себя чистку – доступную роскошь, что обходилась всего в три цента, – и приветствие: «Мир тебе, брат!»

Прибрав после завтрака, мать уходила на работу, а мы провожали ее до угла. Потом втроем поворачивали налево на 145-й улице, минуя «Дворец боулинга Лидо», несколько баров и безликих конфетно-продуктовых лавок, выручка которых главным образом состояла из небольших записочек с нацарапанными на них цифрами.

Три толстенькие Черные девочки с пухлыми, отдраенными и умасленными до блеска коленками, с крепкими косичками, перевязанными лентами. Наши песочники из жатого ситца, сшитые матерью, тогда еще не казались взрослеющей

старшей сестре стыдными.

Мы тащились вверх по холму мимо зала «Звездная пыль», парикмахерской Микки – «горячая и холодная плойка», гарлемского зала «Боп», кафе «Мечта», цирюльни «Свобода» и сигарной лавки «Оптимо», которая, похоже, украшала в те годы любой важный угол. На глаза попадались также «Лавка еды тетушки Мэй», «Леди Сэди» и «Детская одежда», бар «Чоп Суэй Лума» и баптистская миссионерская церковь Шайло, выкрашенная в белый, с цветными окнами-витринами, магазин грампластинок с большим радио, прикованным на цепи снаружи и задававшим ритм нагревающемуся утреннему тротуару. А на углу Седьмой авеню, где мы, взявшись за руки, ждали зеленого света, из прохладной тьмы за откидными дверцами «Полуденного салуна» исходил многозначительно таинственный дрожжевой запах.

Мы начинали забираться на холм, хотя на самом деле холмов было шесть. Под ярким солнцем, если глянуть вверх от подножья Восьмой авеню, подъем казался вечным. Вертикальные рельсы трамваев рассекали холмы пополам. Тротуары стелились асфальтово-людскими лентами. На полпути вверх по холму справа, между Брэдхёрст и Эджкомб-авеню, была широкая полоса зелени, окруженная чугунной оградой, – Колониальный парк. Не публичный – платный. А так как у нас не было десяти центов за вход, мы никогда в нем не бывали.

Рука болела оттого, что сестрам вечно приходилось за нее

меня тащить. Но такова цена – вдруг начну отставать. Мои умеющие читать сестры, любительницы комиксов, тоже платили за возможность покинуть дом – брали меня с собой. Но я так задыхалась от быстрой ходьбы, что даже жаловаться не могла.

Мы переходили через оживленную магистраль 145-й улицы, держась за руки. Останавливались на полпути вверх по холму на Брэдхёрсте, чтобы прижаться лицами к кованой решетке Колониального парка. Издали я слышала плеск воды и рассеянный смех, поднимающийся от полускрытого от глаз бассейна. Эти звуки прохлады, пусть и призрачные, подкрадывались к нашим сухим ртам. К тому моменту мы уже чувствовали себя так, будто идем вечно. Прямо над Колониальным парком солнце жарило нещадно – и никакой тени. Но рядом с парком воздух казался прохладнее. Мы немного болтались у ограды, хотя там не было даже скамеек, чтобы присесть. Деятельная жизнь Гарлема потоком неслась мимо.

Несмотря на предостережения матери не мешкать, мы задерживались, чтобы надышаться свежим запахом бассейна. Сестрицы ревностно вцеплялись в сумки с комиксами, а я сжимала в потных руках сумку с пакетиком соленых крекеров и тремя бананами на перекус. Обед был приготовлен и ждал нас дома.

Прижавшись к парковой ограде, каждая из нас съедала по крекеру. Хелен ворчала, потому что на ходу я размахивала сумкой туда-сюда и всё печенье раскрошилось. Мы стряхи-

вали крошки из сумки салфеткой и продолжали путь по бесконечным холмам.

Наконец мы добирались до гребня Амстердам-авеню. В самые ясные дни я могла встать на цыпочки и глянуть на запад, и тогда вдоль зданий открывался вид от Бродвея до Риверсайд-драйв. За резкой полосой деревьев брезжила слабая, почти воображаемая линия воды – река Гудзон. Долгие годы, слыша песню «америка прекрасная», я вспоминала, как стояла тогда на вершине Амстердам-авеню. В моем представлении «от моря до сияющего моря» означало «от Ист-Ривер до Гудзона».

Пока мы ждали своего сигнала светофора на углу Амстердам и 145-й, я оборачивалась и смотрела назад, на узкий желоб 145-й улицы. Жадно вбирала кварталы, кишачие автомобилями, конными повозками и людьми, прямо напротив и вниз по холму, дальше Колониального парка, Отца Небесного и аптеки на Ленокс-авеню – до моста через реку Гарлем, ведущего в Бронкс.

Внезапно меня охватывала судорога ужаса. Что если в этот ответственный момент я упаду? Тогда я покатилась бы с холма на холм аж до Ленокс-авеню, а прозевав мост, и вовсе свалилась бы в реку. Все бы вприпрыжку разбегались у меня на пути, как на картинках в книжке «Джонни-блин». Отпрыгивали бы, чтобы их не сбила с ног и не раздавила толстая девочка, что с воплями катится вниз в реку Гарлем.

Никто бы меня не перехватил и не спас, и постепенно я

бы уплыла в море мимо арсенала на 142-й улице и кромки воды, где по выходным отец регулярно участвовал в учениях Черного Ополчения. Меня бы утащило в открытый океан коварным течением реки Гарлем, что берет начало в легендарном месте под названием «Плюющийся дьявол», о котором нас предупреждал отец: это течение утянуло уйму наших одноклассников, пока наконец не построили магистраль Гарлем-ривер-драйв, из-за которой прохладные воды реки оказались недоступны для пропыленных Черных малышей, у которых не имелось десяти центов, чтобы толкнуть калитку Колониального парка и попасть в зеленую прохладу бассейна, и не было сестер, с которыми можно отправиться за комиксами.

Война пришла в наш дом по радио воскресным вечером после церкви, между передачей «Оливио – мальчик, который поет йодль» и дуэтом сестер Мойлан. Это было воскресенье, Пёрл-Харбор.

– Японцы бомбили Пёрл-Харбор, – угрюмо объявил отец. Показав жильё потенциальному покупателю, он вернулся и направился напрямик к приемнику.

– Это где? – спросила Хелен. Она в этот момент пыталась втиснуть свою кошку Клео в платице, которое только что сшила.

– Вот, наверное, почему Оливио не передают, – разочарованно вздохнула Филлис. – *Так и думала*, что что-то не так, он всегда в это время идет.

Мать вышла из гостиной – проверить запас кофе и сахара под кухонной раковиной.

Я сидела на полу, привалившись спиной к деревянному корпусу большого кабинетного приемника. В руках у меня была «Голубая книга сказок». Я любила читать и слушать радио одновременно, ощущая спиной вибрацию звука – будто фон для картинок, что возникали у меня в голове под впечатлением от историй. Как всегда бывало, когда резко прекращала читать, я растерянно и смущенно оглянулась. Пёрл-Харбор. Жемчужная гавань. Неужели тролли и впрямь напа-

ли на гавань, в которой запрятан клад с жемчужинами?

Я поняла, что произошло что-то настоящее и ужасное, по запаху в воздухе гостиной и по тому, каким низким, тугим и мрачным становился голос отца, пока он пытался поймать нужную волну, чтобы послушать Гэбриэла Хиттера, Х. В. Кальтенборна или другого любимого новостного комментатора. Они одни связывали его с внешним миром, помимо «Нью-Йорк Таймс». И я знала наверняка, что случилось что-то настоящее и ужасное, потому что ни «Одинокий Рейнджер», ни «Тень», ни «Это ваше ФБР» в тот вечер не транслировались.

Вместо этого во всех выпусках новостей мрачные и возбужденные голоса говорили о смерти, разрушении, жертвах, горящих кораблях, смельчаках и войне. Я наконец отложила книгу сказок, чтобы послушать подробней, замороженная и испуганная высоким драматизмом происходящего вокруг, и, пожалуй, впервые в жизни мудро решила не раскрывать рот. Но родители были слишком поглощены репортажами, чтобы догадаться выгнать меня на кухню. Даже ужинали мы в тот вечер с опозданием.

Мать сказала что-то на патуа, отец ответил. По их глазам я поняла, что они обсуждают работу и деньги. Мама поднялась и вернулась на кухню.

– Пора ужинать, Би, – наконец позвала мать, представ в дверях гостиной. – Тут ничего не поделаешь.

– В этом ты права, Лин. Но война уже здесь, – отец по-

тянулся, выключил радио, и все мы отправились на кухню ужинать.

Несколько дней спустя, после уроков, все ученицы, класс за классом, выстроились в актовом зале, и монахини выдали нам небольшие костяные пластинки кремового цвета, на которых синими чернилами были выведены имя, адрес, возраст и какая-то «группа крови». Каждая из нас должна была *на протяжении всего времени* носить диск на шее на длинной никелевой цепочке без застежки и не снимать ее ни на секунду – под страхом смертного греха, а то и чего похуже.

Слова *на протяжении всего времени* начали обретать осязаемую жизнь и собственную энергию, как *бесконечность* или *вечность*.

Монахини сказали нам, что потом будут противогазы, и надо молиться, чтобы с нами не случилось того, что с беденькими английскими детьми: ради безопасности их послали от родителей подальше в провинцию. В глубине души эта перспектива казалась мне довольно заманчивой, и я надеялась, что так и произойдет. Голову за компанию с остальными я склонила, но заставить себя молиться о том, чтобы этого не случилось, не смогла.

Мы прочитали десять раз «Отче наш» и десять раз «Аве Мария» за упокой душ храбрых молодых людей, что погибли в минувшее воскресенье в Пёрл-Харборе, и еще по пятерке – за голодающих детей Европы.

Когда мы закончили молиться и встали с колен, мать Джо-

зефа показала нам, как скрестить руки перед собой, ухватившись за плечи, – самая безопасная поза, если придется падать на ходу. Потом мы стали тренироваться бегать в подвал церкви по подземному ходу на случай воздушной тревоги. Повторяли и повторяли эти действия, пока не научились выполнять их в полной тишине и очень быстро. Меня стала впечатлять серьезность происходящего, так как длилось это, казалось, часами, пока матери сидели в актовом зале и ждали. Когда мы наконец пошли домой по декабрьскому морозу, почти наступили сумерки, и улицы выглядели странными и зловещими, так как фонари были приглушены и прикрыты колпаками, а витрины магазинов занавешены изнутри.

С наступлением весны всех матерей просили приходить в школу регулярно и помогать выискивать в небе вражеские самолеты, которые могли проскользнуть мимо береговой охраны. По всему Нью-Йорку матери занимались слежкой на школьных крышах. Из-за тщательной цензуры в новостях и мы, и наши родители вряд ли понимали, насколько вероятной была угроза морского артобстрела: немецкие подлодки заходили в пролив Лонг-Айленда. Мы лишь знали, что Нью-Йорк, громоздящийся на Восточном побережье и глядевший на Европу, был первоочередной целью бомбардировок.

Даже самые обычные разговоры стали подозрительными. «Молчание – золото» – разве не это гласили все плакаты? Хотя у меня секретов пока еще не было, я всё же испытыва-

ла укол самодовольного утешения каждый раз, когда проходила мимо углового фонаря на 140-й улице и Ленокс-авеню. Там висело яркое изображение: белый мужчина прижимал к губам пальцы. Под его обращенным вполоборота к зрителю лицом крупные печатные буквы предостерегали: «БОЛТУ-НЫ ТОПЯТ КОРАБЛИ!» Мое молчание социально и патристически одобрялось.

Тем временем жизнь шла своим чередом – в семь лет трудно отличить драматизм реальных событий от напряженности привычных радиопостановок.

В школе Святого Марка матери выслеживали вражеские самолеты из кульверта на крыше, который примыкал к комнате третьего класса, – попасть туда можно было через переднюю дверь нашего кабинета. Прямо перед обедом у нас в третьем классе был урок письма, а очередь моей матери наблюдать за небом наступала в одиннадцать утра и длилась до полудня.

В теплом весеннем свете я склонялась над учебником правописания, в животе урчало в предвкушении обеда. Снаружи за окном я видела мать, стоявшую там в старомодном костюме из темной шерсти, в тяжелых оксфордах с кубинским каблуком, в шляпе – строгой, но с щегольски заломленными полями, отчего на ее ястребино-серые глаза падала тень. Руки ее были сложены на основательной груди, из-под шляпы она старательно хмурилась в небо: пусть вражеский самолет только отважится появиться.

Я чуть не лопалась от гордости, что эта важная женщина – моя мать. Мало того, что она единственной из родительниц нашего класса выслеживала самолеты, – она еще и была причастна к таинственному процессу раздачи книжечек с талонами, для которого в специально отведенный день в актовом зале устанавливали солидного вида стол. К тому же она была единственной из известных мне матерей, что в день выборов сидела за другим столом в лобби пресловутой общеобразовательной школы, отмечала голосующих в волшебных огромных книгах и сторожила волшебные избирательные будки с серыми ширмами. И хотя она единственной из известных мне матерей никогда не мазала губы, даже на воскресную мессу, она единственная из известных мне матерей каждый день «уходила по делам».

Я очень ей гордилась, но иногда, лишь иногда мечтала, чтобы она была как все остальные матери: ждала бы меня дома с молоком и свежееиспеченным печеньем, в кружевном фартуке – как улыбчивая блондинка-мама в «Дике и Джейн».

По католическим праздникам и в короткие дни, когда нас пораньше отпускали из школы, я любила ходить с мамой в офис, сидеть за отцовским дубовым столом, в его солидном деревянном вращающемся кресле и смотреть, как мать выписывает счета на арендную плату, проводит собеседования с потенциальными жильцами или важно спорит с доставщиком угля, куда вывалить привезенное им топливо: прямо на

тротуар или в специальный контейнер, скрытый на улице под люком.

Помню, как в годы войны стояла за матерью перед огромными витринами из зеркального стекла, которые открывались внутрь, а тогда были заклеены от холода. Мы с нетерпением ждали, когда на Ленокс-авеню покажется вагончик «Паблик Фьюэл» и наконец привезет хоть немного низкосортного угля, оставшегося от военных нужд, – это помогло бы хоть на пару градусов поднять температуру в меблированных комнатах, которыми они с отцом управляли. Иногда к нам присоединялся и отец, но чаще в это время он показывал дома или занимался другими связанными с недвижимостью делами, а то и чинил что-то по мелочи в ветхом жилье. Война бушевала, в тылу всё больше требовались рабочие, так что отец бывал в офисе реже – ночами трудился ремонтником на военном заводе в Квинсе, где производили алюминиевые детали для самолетов. Прямо оттуда, оттрубив ночную смену, он рано утром приходил в контору. Поправлял всё, что надо было поправить, делал всю нужную работу, летом проверял протечки в водопроводе, зимой – промерзшие трубы. Потом, если не надо было показывать дом, он шел наверх в пустую комнату и спал несколько часов, а мать подменяла его в офисе. Если же была назначена встреча с клиентом, он шел в пустую комнату побриться, помыться и переодеться и отправлялся по делам, а после обеда возвращался в офис немного вздремнуть.

В полдень, приведя нас домой на обед, мать торопливо разогревала и упаковывала отцовскую еду. Обычно это были остатки от ужина или что-нибудь повкуснее, приготовленное утром. Она раскладывала пищу по склянкам и оборачивала полотенцами, чтобы не остыло, а проводив нас обратно в школу, отправлялась в офис и либо будила отца, либо ждала его возвращения.

Она вела бухгалтерию, решала проблемы, шила простыни и наволочки на швейной машинке «Зингер», которая хранилась в кладовке, и прибирала комнаты наверху. В дни, когда нанятая для уборки женщина отсутствовала, мать работала еще и за нее. А там подходило время забрать нас домой из школы, которая находилась в десяти кварталах от их офиса.

Иногда, когда время и необходимость позволяли или требовали, она шла в магазин на 125-й улице, чтобы раздобыть на ужин кусочек мяса или свежую рыбу и овощи из вестиндских лавок по пути. Набрав покупок, она садилась на еду-щий вверх автобус и встречала нас у школы с полными руками. В такие дни ее лицо было напряженным, усталым, а глаза казались особенно резкими, когда она выходила из автобуса на углу 138-й улицы, где мы втроем уже стояли, тихо ждали и выглядывали ее. Когда он останавливался и мать, с бьющими по ногам пакетами, медленно спускалась по ступенькам, я пыталась прочесть, разгадать выражение ее лица. Оно сообщало мне, на какой лад пойдет наша дорога домой длиной в семь кварталов. Напряженные, сжатые губы озна-

чали порку для одной из нас, обычно для меня, независимо от того, помогали ли мы нести покупки или нет.

Дома дисциплинарные взыскания и выговоры откладывались, пока ужин не будет приготовлен и поставлен на плиту. А уж потом плохие отзывы обо мне, которые сестры в тот день получали в школе, извлекались на всеобщее обозрение, обсуждались, и мать вершила свой жестокий домашний суд.

В иные дни за особо лукавые и грешные проделки выносился зловещий вердикт: «Подождем, когда вернется отец». Он никогда нас не бил. Среди наших заграничных родственников ходил слух, что дядя Лорд такой сильный, что если он кого пальцем тронет, то сразу прибьет. Но само его присутствие при объявлении наказания делало порку более официальной и оттого еще более жуткой и устрашающей. Вероятно, отсрочка и благоговейное ожидание наказания имели тот же эффект.

Правду или нет говорили об убийственной силе моего отца – не знаю. Он был очень крупным, сильным, ростом в метр девяносто пять, и на пляжных фотографиях того времени на его теле – почти ни жиринки. Глаза у него были маленькие, но пронзительные, а когда он стискивал гигантские зубы и голос у него становился до хрипоты низким и мощным, то и правда внушал страх.

Помню один беззаботный вечер перед войной. Отец только-только вернулся с работы. Я сидела у матери на коленях, а она расчесывала мне волосы. Отец подхватил нас, переки-

нул через плечо, смеялся и называл своим «лишним багажом». Помню, как приятно будоражило меня его внимание и как страшно было, что всё привычное вокруг вдруг сделалось *кро-бо-со*, вверх тормашками.

Во время войны отец почти не появлялся дома по вечерам, разве только в выходные, поэтому наказание в целом бывало неотвратимым и немедленным.

По мере того, как война затягивалась, в руки Черным людям попадало всё больше денег, и дела с недвижимостью шли у отца всё лучше и лучше. После расовых волнений 1943 года местность вокруг Ленокс-авеню и 142-й улицы стала известна как «помойное ведро» Гарлема. Наша семья переехала «вверх по холму» – по тем самым холмам, которые мы с сестрами преодолевали летом, чтобы разжиться комиксами.

Когда я была маленькой, мне казалось, что в жизни есть два самых ужасных состояния: оказаться неправой и быть разоблаченной. Разоблачением, а то и уничтожением грозили ошибки. В доме матери места им не было – никакого пространства для неверного шага.

Я со своей жадой жизни, одобрения, любви, участия росла Черной, повторяя за матерью то, что было в ней неутоленного. Я росла Черной, как богиня Себулиса, которую открыла для себя в прохладных земляных залах Абомея потом, несколько жизней спустя, – и такой же, как она, одинокой. Слова матери учили меня разным видам лукавства, отвлекающих маневров, извлеченных из языка белых мужчин, из уст ее отца. Ей приходилось прибегать к этим защитным действиям, благодаря им она выживала и в то же время потихоньку из-за них умирала. Все цвета меняются и становятся друг другом, сливаются и разделяются, растекаясь радугами и петлями.

Я лежу во тьме подле сестер своих, но на улице они проходят мимо меня, оставляя неузнанной и непризнанной. Сколько в этом притворства самоотречения, превратившегося в бесстрастную защитную маску, а сколько запрограммированной ненависти, которой нас пичкали, чтобы мы держались подальше – почаще, частями?

Помню, однажды – я тогда была во втором классе – мать ушла за покупками, а сестры говорили о ком-то, кто был *Цветным*. Как положено шестилетке, я ухватилась за возможность выяснить, что это значит.

– Что такое *Цветной*? – спросила я. К моему удивлению, ни одна из сестриц как следует не знала.

– Ну, понимаешь, – сказала Филлис. – Монахини белые, и Короткошейка из магазина тоже белый, и отец Малвой белый, а мы – Цветные.

– А мама кто? Она белая или Цветная?

– Я не знаю, – ответила Филлис, теряя терпение.

– Ну ладно, – согласилась я, – если кто меня спросит, какая я, то я им скажу, что белая, как мамочка.

– Ой-й-й-й-й-й, детка, ты лучше так не делай, – хором ужаснулись сестры.

– Почему это нет? – спросила я, запутавшись еще сильнее. Но никто не ответил почему.

Это был первый и единственный раз, когда мы с сестрами обсуждали расу как нечто существующее в нашем доме или по крайней мере применимое к нам самим.

Новая квартира находилась на 152-й улице между Амстердам-авеню и Бродвеем, в районе под названием Вашингтон-хайтс, – тогда он был известен, как «меняющийся», то есть именно там Черные люди могли подыскать квартиры по завышенной цене, чтобы переехать из унылого разлагающегося сердца Гарлема.

Многоквартирный дом, в котором поселились мы, принадлежал мелкому домовладельцу. Мы въехали в конце лета, и в том же году я пошла в новую католическую школу прямо через дорогу.

Через две недели после нашего переезда хозяин повесился в подвале. В «Дейли Ньюз» написали, что к самоубийству привело отчаяние из-за того, что ему всё-таки пришлось сдать жилье Неграм. Я стала первой Черной ученицей в школе Святой Катерины, и все белые дети в моем шестом классе знали, что из-за нашей семьи домовладелец покончил с собой в подвале. Он был Евреем, я – Черной. Из-за этого мы оба стали легкой добычей для моих предпубертатных одноклассников, исходящих злобным любопытством.

Энн Арчдикон, рыжеволосая любимица монахинь и отца Брейди, первой спросила меня, что я знаю о смерти хозяина. Родители, как обычно, обсудили этот вопрос исключительно на патуа, а в ежедневной газете меня интересовали лишь комиксы.

– Мне об этом ничего не известно, – сказала я, стоя посреди школьного двора в обеденный перерыв, теребя косички впереди и выискивая в толпе дружелюбное лицо. Энн Арчдикон ухмыльнулась, зашлись от хохота и остальные в толпе, собравшейся нас послушать. Они смеялись, пока сестра Бланш, переваливаясь, не подошла к нам выяснить, что происходит.

В прежней школе сестры Святого Причастия держались

покровительственно, и, по крайней мере, их расизм выражался в терминах их миссии. В школе же Святой Катерины сестры Милосердия были настроены прямо-таки враждебно. Они никак не маскировали свой расизм, не извинялись за него, и меня он особенно задевал, потому что я оказалась к нему не готова. Дома мне никто не помогал. В классе издевались над моими косичками, из-за чего сестра Виктуар, директриса, послала моей матери записку с просьбой причислять меня более «пристойным» образом, так как я, по ее словам, была слишком взрослой для «крысиных хвостиков».

Все девочки носили синюю габардиновую форму, которая к весне становилась затхлой, несмотря на частую химчистку. Приходя в класс после перемены, я находила в парте бумажки с надписью «Ты воняешь». Эти записки я показывала сестре Бланш. Та отвечала, что, по ее мнению, христианская обязанность ее состоит в том, чтобы сообщить мне: Цветные люди *действительно* пахнут иначе, чем белые, однако со стороны детей оставлять такие записки – очень жестоко, ведь я ничего не могу поделать, и если на следующий день я дождусь, когда все вернутся в класс после обеда, а сама постою во дворе, сестра обязательно побеседует с ними о пользе доброго отношения ко мне!

Главой прихода и школы был отец Джон Дж. Брейди, который после того, как мать меня записала, сообщил ей, что никак не ожидал времен, когда придется брать в учебное заведение Цветных детей. Больше всего он любил сажать к се-

бе на колени Энн Арчдикон или Айлин Криммонс и, перебирая одной рукой их светлые или рыжие кудряшки, другую запускать под их синюю габардиновую форму. Мне на этот разврат было плевать, но бесило, что каждую среду он оставлял меня после уроков и заставлял учить латинские существительные.

Другим детям в моем классе давали краткий тест на знание слов, а потом отправляли домой пораньше, так как этот день был коротким и его остаток предназначался для религиозного образования.

Я возненавидела вторую половину среды, когда приходилось сидеть одной в классе и пытаться запомнить единственное и множественное число огромного количества латинских существительных и их родов. Примерно каждые полчаса отец Брейди покидал приходской дом, чтобы меня проверить, и требовал повторить слова. Стоило мне засомневаться хотя бы в одном слове, в форме множественного числа, в роде или запутаться в порядке по списку, как он резко разворачивался на каблуках, скрытых черной сутаной, и исчезал на следующие полчаса, а то и побольше. Хотя в короткий день полагалось отпускать детей в два часа, порой я попадала домой по средам лишь после четырех. Иногда той же ночью мне снились белые, с едким запахом, листы копировальной бумаги: *agricola*, *agricolae*, *fem.*, *фермер*. Когда через три года в старшей школе Хантер пришлось учить латынь всерьез, связанный с ней блок в сознании оказался настолько мощ-

ным, что первые два семестра я завалила.

Когда я дома жаловалась на обращение в школе, мать злилась.

– Да какое тебе дело, что они там о тебе думают? Тебе с ними что – детей крестить? Ты ходишь в школу учиться, так что учись, а на остальное не обращай внимания. Не нужны тебе друзья, – ее беспомощности и боли я не замечала.

Я была самой умной в классе, но популярности моей это не помогало. Однако сестры Святого Причастия хорошо меня подготовили, поэтому я успевала в математике и устном счете.

Летом сестра Бланш объявила шестому классу, что мы проведем выборы на два президентских поста – для мальчика и для девочки. Баллотироваться может каждый, сказала она, а голосовать мы будем в ближайшую пятницу. Сестра добавила, что надо принять во внимание достоинство, старание и товарищеский дух, а главное – оценки кандидата.

Конечно же, сразу выдвинули Энн Арчдикон. Она была не только самой популярной девочкой в школе, но и самой хорошенькой. Айлин Криммонс номинировали тоже – ее блондинистые кудри и статус любимицы святого отца это гарантировали.

Я одолжила Джиму Мориарти десять центов, что в обеденный перерыв вытянула из отцовского кармана, и тот представил мою кандидатуру. Другие захихикали, но я не обращала внимания. Я была на седьмом небе. Я знала, что я

самая умная девочка в классе, а значит, должна победить.

В тот же день, чуть позже, когда мать вернулась с работы, я рассказала ей о выборах, своем соискательстве и намерении победить. Она пришла в ярость.

– С какой стати тебе сдалось участвовать во всей этой глупости? Ты головой своей не соображаешь, что это тебе не нужно? Что толку в этих выборах? Мы тебя посылаем в школу работать, а не гарцевать: президент тут, выборы там. Доставай рис, детка, и завязывай с глупостями, – мы принялись готовить ужин.

– Но я ведь могу выиграть, мамочка. Сестра Бланш сказала, что пост достанется самой умной девочке в классе, – я хотела, чтобы она поняла, как для меня это важно.

– Не лезь ко мне с этой ерундой. Знать о ней ничего не хочу. И не вздумай в пятницу являться с кислой миной – мол, мамочка, я не победила, – не хочу этого слышать. Нам с отцом хлопот хватает, чтоб всех вас в школе держать, какие уж тут выборы.

Я замяла разговор.

Неделя выдалась длинной и волнующей. Единственной возможностью привлечь внимание одноклассников в шестом классе было обладание деньгами, и благодаря тщательно спланированным набегам на карманы отца каждой ночью той недели у меня накопилось некоторое богатство. В полдень я бежала через дорогу, проглатывала мамин обед и возвращалась на школьный двор.

Иногда, когда я приходила поесть, отец перед работой отдыхал в спальне. За день до выборов я прокралась по дому к закрытым застекленным дверям родительской комнаты: через дырку в портьере было видно, что отец спит. Казалось, двери сотрясались от его могучего храпа. Я смотрела, как с каждым звуком его рот открывался и закрывался, в то время как из-под усов раздавался громогласный рокот. Покрывало было откинута, а руки отца покоились за поясом пижамы. Он лежал на боку лицом ко мне, его пижамные штаны спереди разошлись. Я видела лишь очертания уязвимой тайны, что бросала тень на прореху в его одежде, и внезапно меня потрясли этот столь человеческий образ и мысль о том, что я могу подсматривать за ним, спящим, без его ведома. Я отступила и быстро закрыла дверь, испытывая неловкость и смущение из-за своего любопытства, но также и раздосадованная тем, что ширинка его штанов не распахнулась больше и мне так и не довелось узнать, что за таинственную штуку носят мужчины между ног.

Когда мне было десять, мальчик на крыше стянул с меня очки, и всё, что я помню – а помню я об этом событии мало, – это длинная шутовщина толщиной с карандаш, у которой с моим отцом точно не было ничего общего.

Прежде чем закрыть дверь, я протянула руку туда, где висел папин костюм. Отделила долларовую бумажку от небольшой стопки, лежавшей в кармане. Потом отступила на кухню, вымыла свои тарелку и стакан и поспешила в школу.

Предстояла предвыборная агитация.

Я смекнула, что рассказывать матери про президентские выборы не стоит, но вся неделя была полна фантазий о том, как в пятницу, когда она вернется с работы, я выложу ей свои новости.

«Ой, мамочка, слушай, а можно я останусь в школе в понедельник после уроков? У нас собрание президентов классов». Или: «Мам, а можешь, пожалуйста, подписать эту бумажку? Нужно твое согласие на мое президентство». Или даже: «Мам, можно я устрою небольшую вечеринку, чтобы отпраздновать выборы?»

В пятницу я завязала ленту вокруг стальной заколки, которая крепко стягивала мою непокорную гриву на затылке. Выборы должны были пройти во второй половине дня, и, придя домой пообедать, я впервые в жизни от волнения не могла есть. Я сунула причитающуюся мне банку супа «Кэмпбелл» за ряды других консервов в кладовке и понадеялась, что мать не станет их пересчитывать.

Из школьного двора мы шеренгой направились по лестнице в кабинет шестого класса. На стенах висели всякие зеленые штуки, оставшиеся от недавнего Дня святого Патрика. Сестра Бланш раздала нам небольшие кусочки бумаги – бюллетени.

И сразу первое разочарование: она объявила, что избранный мальчик станет президентом, а девочка – лишь вице-президентом. Я сочла это ужасающе несправедливым.

Почему не наоборот? Если президентов, как она объяснила, не может быть двое, почему тогда не выбрать главной девочку, а мальчика – ее заместителем? Неважно, договорилась я с собой. Если придется побыть вице-президентом – пусть.

Я проголосовала за себя. Бюллетени собрали и передали вперед для подсчета. Среди мальчиков выиграл Джеймс О'Коннор. Среди девочек – Энн Арчдикон. Айлин Криммонз получила второе место. За меня отдали четыре голоса, включая мой собственный. Я была повержена. Все хлопали победителям, а Энн Арчдикон повернулась ко мне и самодовольно ухмыльнулась:

– Жаль, что ты проиграла.

Я тоже улыбнулась. Хотелось разбить ей лицо.

Я была слишком уж дочерью своей матери, чтобы дать кому-то понять, как много всё это для меня значило. Но чувствовала себя так, будто меня уничтожили. Как подобное могло случиться? Я же самая умная девочка в классе. Меня не выбрали вице-президентом. Всё выглядело довольно просто. Но было там что-то еще. Ужасно несправедливое. Ужасно нечестное.

Милая девчушка по имени Хелен Рамзи решила, что ее христианский долг – подружиться со мной, и однажды зимой даже одолжила мне санки. Она жила рядом с церковью и в тот день после школы пригласила меня к себе попить какао. Я умчалась, не ответив, ринулась через улицу под наш безопасный кров. Рванула вверх по лестнице, а ранец бился о

мои ноги. Вытащила ключ, пришитый к карману формы, и отперла дверь квартиры. Дома было тепло, темно, пусто и тихо. Я всё бежала и не останавливалась, пока не оказалась в своей комнате с другой стороны квартиры, швырнула книги и пальто в угол и упала на раскладную тахту, трясаясь от ярости и разочарования. Наконец, в уединении своей спальни я могла дать волю слезам, что жгли мне глаза целых два часа, и рыдала долго-долго.

До этого я мечтала о недоступных для меня вещах. Так сильно мечтала, что даже поверила: если хотеть чего-то очень сильно, то сам факт желания гарантирует, что я это «что-то» точно не получу. Не произошло ли с выборами то же самое? Не слишком ли сильно я хотела выиграть? Может, об этом и говорила мать? И потому она злилась? Потому что когда хочешь – точно не получишь? Так или иначе, что-то тут пошло не так. Впервые я пожелала чего-то неукротимо сильно и даже думала, что смогу контролировать победу. Выбора была достойна самая умная девочка класса, а я-то точно была самой умной. Кое-чего я добилась в этом мире сама, а потому должна была победить. Самая умная, но не самая популярная. Вот она я. Но ничего не случилось. Мать была права. Я не выиграла на выборах. Мать была права.

Эта мысль причиняла мне столько же боли, сколько и непосредственно поражение, и, полностью ее осознавая, я издала еще более громкий вопль. В пустом доме я упивалась своим горем так, как никогда не смогла бы, будь все на месте.

В дальнем конце квартиры, утопая в слезах, стоя на коленях и уткнувшись лицом в диванные подушки, я не слышала, как в замке повернулся ключ и входная дверь открылась. Мать немедленно оказалась в дверном проеме моей комнаты и принялась сопереживать мне во весь голос.

– Что стряслось, что стряслось? Что с тобой? Что там такое приключилось?

Я обернула к ней свое мокрое лицо. Хотелось, чтобы кто-то меня пожалел, и я двинулась в ее сторону.

– Я проиграла на выборах, мамочка, – заревела я, забыв о ее предупреждении. – Я самая умная девочка в классе – так сказала сестра Бланш, – а вместо меня выбрали Энн Арчдикон! – меня снова поразила несправедливость произошедшего, и голос надломился под напором новых рыданий.

Сквозь слезы я увидела, как материно лицо застыло от злости. Ее брови сошлись, и она занесла руку, все еще сжимая сумку. Я остолбенела, и меня настиг первый удар – по голове. Слабачкой мать не была, и я попятилась, ощущая звон в ушах. Казалось, мир спятил с ума. И тут мне вспомнился наш прежний разговор.

– Видишь, птичка забывает, а капкан помнит! Я тебя предупреждала! О чём ты вообще думаешь, когда приходишь в этот дом и воешь из-за выборов? Я говорила тебе раз, я говорила тебе сто раз, что не стоит тебе гоняться за этим – разве не так? Какой дурындой надо вырасти, чтобы думать, что бестолковые белые слизняки отдадут голоса тебе, а не

той выскочке! – (Хлоп!) – Что я тебе только что сказала? – она снова схватила меня, на этот раз за плечи, и я попыталась спастись от града ударов, уворачиваясь от острых углов сумки.

– Не я, что ли, говорила тебе не лить дома крокодиловы слезы из-за этих никчемных выборов? – (Хлоп!) – Ты думала, зачем мы тебя в эту школу отправили? – (Хлоп!) – Не суй свой нос в чужие дела – и будет тебе счастье. А теперь остывай давай – сушим слезы! – (Хлоп!) – Мать рванула меня, обмякшую, с дивана и поставила на ноги.

– Пореветь хочешь? Так я тебе дам повод для рева! – и она опять схватила меня, на этот раз полегче. – А теперь давай-ка вставай, и хватит вести себя как дура, волноваться о делах этих людишек, которые к тебе никакого отношения не имеют. Иди отсюда вон да умойся! Веди себя уже как взрослая!

Толкая меня перед собой, мать промчалась через гостиную в кухню.

– Я прихожу с улицы, а тут ты сидишь, будто мир рухнул. Думала, небось что-то ужасное случилось, а оказывается – всего-навсего эти выборы. Давай-ка разберем продукты.

Было приятно слышать, что она успокаивается. Я вытерла глаза, но продолжала сторониться ее тяжелых ладоней.

– Мамочка, ну нечестно же. Вот я и плакала, – сказала я, выкладывая на стол покупки из коричневых пакетов. Признать, что я задета, значило снова дать повод для обвине-

ний в уязвимости. — Мне-то сами выборы не очень важны, а именно что несправедливость эта.

— Справедливость, справедливость, а что вообще, по-твоему, справедливо? Если хочешь справедливости, глянь богу в лицо, — мать деловито сбрасывала в мусорное ведро луковую шелуху. Она остановилась, повернулась и ухватила мое распухшее от слез лицо под подбородком. Глаза ее, столь резкие и яростные прежде, стали усталыми и грустными.

— Малышка, почему ты так мучаешься из-за того, что справедливо, а что несправедливо? Делай, что с тебя причитается, а остальное само собой разрешится, — она откинула прядь со лба, и я почувствовала, как злость уходит из кончиков ее пальцев. — Смотри, что с волосами стало, пока ты валялась с глупостями. Иди умойся и руки вымой, а потом приходи, будем рыбу готовить.

Когда дело не касалось политики, мой отец был молчуном. Но в ванной по утрам он обычно вел серьезные разговоры сам с собой.

В последние годы войны отца чаще можно было застать не дома, а если и дома – то прикорнувшим на пару часов перед очередной ночной сменой на военном заводе.

Мать летела домой с работы, с рынка, немного хороводилась с нами и готовила ужин. К ее приходу Филлис, Хелен или я уже должны были поставить вариться рис или картошку, а мать, возможно, днем успевала приправить мясо специями и оставляла его на плите с запиской для нас включить под кастрюлей маленький огонь, когда вернемся домой. А может, что-то нарочно приберегали с прошлого ужина («Оставьте немного отцу на завтра!»). В такие вечера я не дожидалась возвращения матери – сама паковала еду и отправлялась вниз по городу на автобусе, чтобы доставить ему обед в офис.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.